

**СИН
ТАК
СИС**



21

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

21

ПАРИЖ

1988

Журнал редактирует :

М. РОЗАНОВА

The League of Supporters: Т. Венцлова, Ю. Вишневская,
И. Голомшток, А. Есенин-Вольпин, Д. Каминская,
П. Литвинов, Ю. Меклер, М. Окутюрье, В. Турчин,
А. Френдли, Е. Эткинд

**Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции**

© SYNTAXIS 1988

Адрес редакции:

8, rue Boris Vilde
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE

М. Розанова

ПЕРЕСТРОЙКА И ПЕРЕСТРЕЛКА

По мотивам Луизианской конференции — с приложениями и отступлениями

Начну с конца, с моего собственного, под занавес, выступления в последний день датской конференции. И начну я так не от мании величия и вовсе не для того, чтобы отметить, сколько раз зал смеялся и какими продолжительными были аплодисменты, а потому, что чем дальше и дальше уходит в прошлое эта встреча, тем острее ощущается одна из основных ее проблем: "мы" и "они", эмиграция и метрополия, слитно или раздельно, как любит спрашивать популярный грамматический справочник

Прямо скажу, что, попросив слова, я свою задачу видела в том, чтобы сгладить известную напряженность, возникшую в результате этого странного советско-эмигрантского альянса тех дней, когда советские речи чередовались с эмигрантскими, создавая довольно пеструю картину "перестроенных" настроений.

Я сказала:

"Двенадцать лет назад, в годы цветущего застоя, журналист Самуил Рахлин, сидящий здесь, брал интервью для датского телевидения у редактора "Литературной газеты" Александра Чаковского. И в ходе этой беседы Рахлин предложил Чаковскому пригласить в это интервью одного из русских писателей-эмигрантов. Чаковский отказался, мотивируя свой отказ тем, что никогда не сядет за один стол с эмигрантами — этими "врагами народа", "отщепенцами" и "предателями родины". Чаков-

ский тогда предпочел форму монолога, излюбленную до недавнего времени стилистику моей родины.

И вот я счастлива, что на этой конференции наконец-то россияне попытались от монолога перейти к диалогу. Они еще не очень разговаривали, эти россияне, вот за этим столом. Почти каждый солировал и не всегда думал, как отзывается его партия, его песня в сердце собеседника. Но диалог – это сложная форма, намного сложнее монолога. Диалогу надо учиться, а учиться – трудно и не всегда хочется. Наверное, это заложено в нашем национальном характере, что мы очень любим учить и гораздо меньше учиться.

Поэтому меня очень огорчило вчерашнее выступление моего друга, моего коллеги и, в общем, моего единомышленника Кронида Любарского. Я согласна со всей фактической стороной его доклада, но мне показалось, что некоторые оттенки и интонации каким-то образом и, наверное, без его желания, но превратили наших собеседников почти что в подсудимых. Мне показалось, что целый ряд обвинений был как бы переадресован не туда, куда надо. И я понимаю, что именно поэтому сегодня в выступлении Григория Бакланова прозвучала пренебрежительная и очень неприятная интонация. И она меня тоже очень огорчила, потому что Григорий Бакланов и то, что он делает, – это, в общем, гораздо больше и намного больше и значительнее, чем этот сегодняшний выпад*.

Но я всего-навсего слабая женщина (смех в зале), и мне очень хочется, чтобы какие-то шероховатости, которые имели здесь место, были отнесены за счет того, что мы, обе стороны, обе половинки россиян, немного недоучившиеся школьники в диалоге, и у этого могут быть довольно серьезные последствия.

Эмиграции из Советского Союза уже 70 лет. И было их три. Первая, послереволюционная, эмиграция была гораздо сильнее, значительнее, интереснее и великолепнее, чем мы. В ней были Бунин, Бердяев, Ремизов, Лев Шестов, Цветаева, Ходасевич и многие-非常多的 другие – крупнейшие деятели русской культуры. Вы думаете, мир их слушал, когда они пытались что-то рассказать про нашу страну? Нет, мир их не слушал. Плевал на них мир...

Вторая эмиграция, послевоенная, принесла в Европу рас-

* См. ПРИЛОЖЕНИЯ – I

сказы о сталинском терроре, о лагерях, о казнях, обо всем том, в чем сегодня признаются советские газеты. И вы думаете, мир их слушал? Ничего подобного. В 47 году в Париже состоялся процесс Кравченко, на котором французские коммунисты доказывали, что все рассказы Кравченко о концлагерях и 37 году — это клевета.

Но сегодня сложилась ситуация новая и необычная. Карта легла так, что, нравится это кому-то или не нравится, но мир нас слушает. И мне кажется, что это очень существенно должно изменить соотношение между страной и эмиграцией. Из изолированных систем мы стали сообщающимися сосудами, и мир смотрит на нас сегодня, как на каплю крови нации, взятую на анализ. И миру не безразлично сегодня, что мы, третья эмиграция, ее писатели, ее журналисты, скажем о перестройке.

Мы очень разные. Точно так же, как в метрополии, в эмиграции есть силы перестройки и силы торможения. И мне хочется сказать Григорию Бакланову, что Любарский — это сила перестройки на Западе. Что его журнал "Страна и мир" и мой журнал "Синтаксис" — вот два журнала, которые поддержали перестройку. Может быть, сегодня мы ничего не можем сделать в стране, в стране, которая остается НАШЕЙ страной, но мы очень много можем сделать здесь. И я не останавливаюсь перед тем, что некоторые группы эмигрантов называют меня "рукой Москвы". Но если я в Москве не боялась КГБ, то неужели я здесь буду бояться Максимова? (Смех в зале.) И поэтому опять же рецепт у меня один: давайте учиться разговаривать.

Мне понравилось выступление Гладилина*, но мне кажется, что он не довел его до конца. Сейчас, при некоторой подвижности ума, в принципе, вы можете радиостанцию "Свобода" разорить, забрав у нее и у других радиостанций целый ряд людей, забрав их себе, в свои журналы, в свои газеты. В конце концов, почему бы не попробовать сделать Парижское бюро "Либерти" филиалом "Нового мира"? (Общее веселье, аплодисменты.)

Итак, в начале марта под Копенгагеном, в музее Луизиана, состоялась трехдневная конференция. Тема — "Роль творческой интеллигенции в процессе реформ в Советском Союзе и перспективы на будущее".

* См. ПРИЛОЖЕНИЯ — I

Помимо датских писателей и славистов, в ней приняли участие с советской стороны – редактор журнала "Знамя" Григорий Бакланов, литературовед, профессор МГУ Галина Белая, литературный критик Наталия Иванова ("Дружба народов"), редактор журнала "Сельская молодежь" Олег Попцов, кинорежиссер Алексей Герман, писатели – Фазиль Искандер, Владимир Дудинцев, Сергей Есин*, Михаил Шатров, декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский* и ректор Историко-архивного института Юрий Афанасьев; со стороны эмигрантов датчанами были приглашены – Василий Аксенов, Ефим Эткинд, Борис Вайль, Андрей Синявский и Кронид Любарский; в дискуссии же приняли участие Анатолий Гладилин, Лев Копелев, Раиса Орлова, Мария Розанова, Андрей Назаров и другие.

В таких масштабах встреча советских и эмигрантских авторов происходила, сколько помнится, впервые в нашей истории. Доброжелательные и гостеприимные датчане, естественно, побаивались, как бы дискуссия, в ходе которой высказывались иногда полярные точки зрения, не обернулась скандалом, обычной российской перепалкой, обменом взаимными обидами, обвинениями и оскорблениеми. Это было бы просто-напросто срывом конференции, концом разговора, который не успел начаться. Ни советская, ни эмигрантская стороны, надо сказать, тоже не стремились к роковому исходу. И потому все обошлось более или менее благопристойно, без перехода в состояние гражданской войны.

Правда, советским административно-ответственным лицам (редакторам Бакланову и Попцову, например) порою приходилось давать короткий "отпор", зарвавшимся эмигрантам, демонстрируя, что советские люди всегда стоят на платформе социализма и с этого общего места их не сдвинешь. Это можно понять. Тем более, что в амфитеатре, над ареной, немым укором и призывом к бдительности весомо, грубо и здирво восседали ликторы из советского посольства в Дании, в соотношении приблизительно два посольских на каждого советского, а эмигранты вели себя куда более агрессивно, нежели советские, как это свойственно, вообще, лицам беспечным и неорганизованным.

* Датчане их не приглашали. Их послал Союз писателей вместо званных, но не приехавших на конференцию Андрея Битова и режиссера А. Вильевса.

Но те и другие приехали, чтобы обсуждать проблемы, а не устраивать друг другу обструкции. Да и советская делегация, за редкими исключениями, проявляла деликатность и веротерпимость, хорошо понимая, что искомая перестройка это еще не блестательный результат, а только начавшийся процесс, сложный и трудный, который ничего не стоит задержать и повернуть обратно, а вот как продолжить — вопрос. Они принадлежали в большинстве к тому же либеральному кругу, что и мы, эмигранты, — лишь с урезанным правом публично говорить все, что они думают. Но несмотря на эти — все еще урезанные — права, они говорили так свободно, так самокритично и искренне, что я невольно примеряла их речи к расценкам десяти-пяти- или даже трехлетней давности: вот эта фраза котировалась в наши времена по 70-ой статье, а эта — по 190-ой... И я не ревновала, что, дескать, в нашем полку за такое сажали, а эти... "разрешенные", "посланные"... я радовалась тому, что наконец-то *такое* можно говорить.

Борис Вайль в докладе "Культура и проблема легитимации" говорил о кризисе легитимации власти в странах советского типа, о том, что в официальную идеологию никто там не верит, что горбачевское руководство начало эту идеологию обновлять. "Новые идеологические ценности", о которых теперь пишут в советских газетах, могут оказаться хорошо забытыми старыми. Еще он говорил о том, что наиболее серьезный конкурент официальной идеологии не сталинизм, а "русское национальное самосознание".

Выступление Андрея Синявского называлось "Пространство прозы"*.

Профессор Ефим Григорьевич Эткинд в докладе "Единство русской литературы"** рассказал, как в Советском Союзе долгое время господствовала обстановка ненависти, по вине которой были уничтожены многие писатели и учёные — целый пласт русской культуры. Теперь наступило время собирать камни: толпа теней — писателей и произведений, о которых широкий читатель ничего не знал, хлынула на страницы советских журналов.

Тут пробежала первая кошка: блестящий доклад Эткинда

* См. ПРИЛОЖЕНИЯ .. I

** Доклад будет опубликован в журнале "Страна и мир"

был исполнен с такой экспрессивной силой, что Григорий Бакланов решил вступиться за советскую литературу и начался легкий конфликт. Может быть, прочти Эткинд свой доклад (слово в слово!) не в жестком ритме "глаголом жечь!", а в более мягкой манере "и плача, и плача, он отрубил ему голову" – полемики не последовало бы.

Мне даже показалось, что это было учтено в последующем докладе Василия Аксенова о русском эмигрантском романе 70-х годов, в котором довольно простая и достаточно оскорбительная для собеседников мысль о преимуществах полифонического романа в эмиграции и, вообще, о том, что в эмиграции пишут лучше, чем в метрополии*, была прикрыта таким великолепным словесным каскадом с кружевами метафор на обшлагах, что за этими турнюрами ее почти никто не заметил, и наш грустный бэби сумел и козу заделать, и с товарищами не поссориться.

По-настоящему обстановка стала накаляться после доклада Кронида Любарского "Правозащитное движение и перестройка", ибо именно тут перед нами всталась проблема – если не воевать (чему мы хорошо научились), то как вести себя за мирным столом?

Что же сказал К. Любарский? Чем он вызвал раздражение советской стороны? Вроде бы ничего ужасного. Он просто напомнил присутствующим слова двадцатилетней давности, принадлежащие правозащитникам, о необходимости демократизации общественной жизни в стране, которые теперь без опаски произносят Горбачев и другие официальные лица. Напомнил также об узниках совести, которых не освободили и не реабилитировали. Напомнил о гибели Анатолия Марченко. Все, что было сказано по существу, по фактам, было правильно. Подо всем, казалось бы, и расписаться можно. Но вслушайтесь в тональность этих построений, в их интонацию:

"Нынешние идеи и вопросы перестройки, которые по

* Вообще, идея, что все настоящие писатели уехали в эмиграцию – не нова. Но, высказывая ее, мы не думаем, как ранит наше слово тех, кто остался дома. Несколько лет назад мне прислали из Нью-Йорка, из нашего, уже эмигрантского Самиздата, маленькую заметку под названием "Некролог". Говорят, что автор – Андрей Битов. Может быть. Похоже. Имя потерялось в обычном небрежении к неприятному для нас слову.
См. ПРИЛОЖЕНИЯ – II

официальной версии, поставлены самой партией и ленинским Центральным Комитетом, давно и откровенно обсуждались в Самиздате. Это идеи правозащитников. Я вовсе не утверждаю, что Горбачев прямо заимствовал свои идеи из Самиздата. /.../ Но, честно говоря, я не исключаю такого знакомства. В конце концов, КГБ, который два десятилетия железной рукой истреблял самиздат и правозащитное движение, не мог не информировать о происходящем правительство страны. /.../

...В самом начале правозащитного движения его целью было добиться диалога с властью, установить некий "модус операнди", в соответствии с которым совместными усилиями можно было бы направить страну на путь демократизации и экономического прогресса. /.../ Волной репрессий власти скоро показали, что в сотрудничестве они не заинтересованы. /.../

Во всей советской прессе не было сказано о политзаключенных, о правозащитниках, бывших и настоящих, ни одного доброго слова. Исключение — Юрий Буртин, статья "Вам, из другого поколения", но и там это было сказано в общей форме, без называния имен. Я с глубочайшим уважением отношусь к Егору Яковлеву и газете "Московские новости", ее совершенно справедливо считают авангардом перестройки, но я не могу понять, что заставило эту газету выступить с грязной клеветой в адрес Балиса Гаяускаса, который до сих пор находится в ссылке на Дальнем Востоке. /.../

...Я в кулуарах тут беседовал со многими людьми, с очень хорошими людьми, и каждый раз, когда обсуждаешь, почему вот еще этого нет, почему другого нет, они это объясняют своими сложностями. Говорят: вы должны понять, в каких трудных условиях мы живем и как нам приходится преодолевать одно, другое, третье. Действительно, у каждого из вас эти трудности есть. Но вы знаете, у Балиса тоже есть трудности. Вот кто о них подумает? Подумайте вы тоже о них...

Как посмела газета "Труд" после гибели /.../ Анатолия Марченко, молодого рабочего, ставшего писателем, книги которого переведены на все языки мира, выступить с грязной, клеветнической статьей о Марченко? В защиту Марченко, отбывшего шесть тюремно-лагерных и ссылочных сроков, выступали Джон Апдейк, Грехем Грин, Артур Миллер, Сэмюэль Беккет, Фридрих Дюренматт, Чеслав Милош, Эжен Ионеско и многие другие. А в это время "Труд" готовил статью, в которой го-

ворилось, что Марченко уголовник, который безудержно восхвалял фашизм ... Это написано не в период застоя, написано в разгар гласности и перестройки. Какой мастер культуры это сделал? Неужели (обращаясь к советским) не нашлось никого, кто бы запротестовал? Почему?

Здесь вот редактора журналов есть. Опубликуйте книгу Марченко "Мои показания" или две другие его книги. Последняя книга — "Живи как все". Это хорошие книги. Я (с нажимом) повторяю — опубликуйте их. Здесь есть кинематографисты. У вас теперь много талантливых и талантливо снимают. Одному не нравится, другому не нравится. Поставьте кто-нибудь, кому понравится, фильм по книге "Мои показания". Это будет хороший фильм. (...)

... Я опасаюсь, что живущий андроповский дух мешает установлению сотрудничества между творческой интеллигенцией, которая сохранилась в системе и сейчас с увлечением осуществляет перестройку, (к советской делегации) с вами, и с теми из той же системы, кто не то что выпал, а был выброшен из нее, и кто, несмотря на это, активно стремится участвовать в процессе демократизации страны. Деандропизацию, как и перестройку, нужно начинать каждому с самого себя. (...)

... Многие правозащитники ... не верят, что демократизация и экономическое возрождение страны возможны на пути социализма. Тем не менее ... многие из нас готовы оказать, в который уже раз, оказаться всем, кто думает иначе, кто с нами не согласен, кредит доверия..."

Гром аплодисментов вызвала эта взволнованная речь у большей части присутствующих и тяжелое недоумение у меньшей. "Как же так, — говорил мне один советский делегат, — неужели он все забыл? Неужели он забыл, откуда мы приехали и куда мы возвращаемся? Почему он не подумал, сколько негодяев хотели сорвать эту встречу? Ее так не хотели в Союзе писателей — ведь даже визы нам дали только накануне поздно вечером, а в шесть утра лететь*. Неужели вы здесь, в своих за-

* Позднее из Москвы дошли сведения, что противником встречи советских и эмигрантских деятелей культуры был сам Лигачев. Может быть, настойчивые утверждения Г. Бакланова (вопреки фактам и документам), что это только советско-ДАТСКАЯ встреча — было необходимым условием, чтобы она вообще состоялась. Перед поездкой советских представителей: — Не братайтесь с эмигрантами!..

границах, не понимаете, что там, у нас, сейчас происходит?" А другой добавил: "Чего же он хочет — чтобы я вот здесь, сейчас, начал, оправдываясь, перечислять свои заслуги: и сколько меня прижимали, и за кого когда я подписывал? Неужели вы не понимаете?"

Я понимала. Так мне, во всяком случае, казалось. Я понимала, что никакого хода у наших собеседников, как давать отпор, сегодня еще нет. Мы, эмигранты, сами загнали их в этот сценарий, а дальше все идет как на шахматном поле: если вы становитесь сюда — противник пойдет слоном, а если вы здесь, — то ничего, кроме ладьи, он не может. Но почему мы допустили, что разговор опять пошел в стиле "мы — они" и "следующий ход противника"?

Да и то сказать, что бы вы, читатели, любой из вас, сделали, заговори с вами в таком тоне: "Напечатайте! Поставьте! Где вы были, когда мы?.. Но так уж и быть, мы согласны оказать вам еще раз кредит доверия"? Что бы вы ответили?

Я чувствовала себя школьницей, провалившейся на экзамене. А ведь начало было таким радужным и столько было надежды в приветственных словах ректора Копенгагенского университета профессора Ове Натана:

"Сейчас становится реальностью то, о чем мы мечтали. Несколько лет тому назад мы не могли и представить себе, что русские писатели из России и русские писатели, живущие в других странах, смогут вести свободную дискуссию с их западными коллегами и между собой о влиянии той духовной революции, которая в настоящее время происходит в Советском Союзе. Международная безопасность и мир в наш век более всего зависят от открытости и доверия, существующих между всеми людьми в мире, от всемирной гласности в самом широком смысле. Поэтому ваш разговор здесь, по-моему, важнее, чем слова, которые говорят друг другу генералы, государственные деятели и участники официальных переговоров. На сколько я понимаю, гласность — это столкновение русского общества с его прошлым. А для нас на Западе гласность — это возможность духовного воссоединения России с остальной Европой, возможность близкого соприкосновения с душой России. Ваша встреча, ваш диалог заключает в себе большую надежду для будущего, надежду на мир и стабильность. Такого диа-

лога мы ждали долгие годы. Сейчас он происходит, и мы готовы сделать все для того, чтобы он продолжался".

В самом деле, на многое у нас общие или сходные взгляды. Мне, например, позиция Ю.Афанасьева или Фазиля Искандера ближе, чем пылкая непримиримость нашей Пассионарии – Н.Горбаневской. С кем я должна быть солидарна – с авторами директивного "Письма десяти"? Из них пятеро к началу "Кельнского воззвания" почему-то выбыли из списка, который пополнился другими лицами, а один из десяти, Юрий Любимов, не только не сражается сегодня с коммунизмом, но даже как будто собирается ехать в Москву для совместной работы с тамошними друзьями. И пусть едет. Не вижу в этом ничего дурного. Во всяком случае, это лучше, чем, сидя на безопасном Западе, диктовать Кремлю предварительные условия перестройки: дескать, пускай сперва рассыпется Советская власть, а там мы посмотрим. Или, как указано в "Кельнском обращении": "Не "перестройка", а строительство заново". Так и слышится: "до основания, а затем"...

Говорю прекрасному человеку – искреннему, добруму и бескорыстному, – Анатолий Эммануилович! Как же так? Ведь если по "Кельнскому воззванию", которое вы подписали, все пойдет, – моря крови прольются. А он в ответ: Христос Воскресе, Машенька (разговор-то в Светлое Воскресенье был), но разве настоящие революции бескровными бывают? А нужна революция, потому что в стране ничего не происходит, одна пустая говорильня.

– Воистину, – отвечаю, как меня по катехизису учили, – но как же так – ничего не происходит? А "Реквием" Ахматовой, а "Мы" Замятина, а "Собачье сердце", а стихи Бродского? Вы же в прошлом учитель словесности, вы же все должны знать – и про силу слова, и про его воздействие на умы и нравственность общества.

* "Письмо десяти" – заявление для прессы – с недоверием идеям перестройки подписали: В.Максимов, В.Буковский, Э.Кузнецов, А.Зиновьев, О.Зиновьева, Ю.Орлов, Ю.Любимов, Э.Неизвестный, В.Аксенов, Л.Плющ (март, 1987 г.).

"Кельнское обращение" подписали: А.Авторханов, В.Буковский, Г.Владимов, М.Восленский, А.Гинзбург, Н.Горбаневская, А.Зиновьев, А.Корягин, А.Краснов-Левитин, Э.Кузнецов, Э.Лозанский, В.Максимов, Л.Плющ, В.Рапопорт, С.Ходорович, Ю.Ярым-Агаев (март, 1988 г.).

— Э-э-э, — перебивает мои ламентации Краснов-Левитин, — это все только для маленькой кучки интеллигентов развлечения. А ваше "Собачье сердце" уже даже моя жена читать не будет — слишком тонкая вещь. Нет, нужны решительные действия. Ну, а что до крови, то я сошлюсь, Машенька, на ваш собственный опыт, у меня, к сожалению, такого нет, — вот вы детей рожали, сколько мук и крови приняли, вот и дали миру новую жизнь, как в Евангелии написано... Так что кровь при рождении нового — это не страшно, это неизбежно...

Может быть, думаю я, но только до какого-то времени русские революционеры проливали за *свои* идеи *свою* кровь и поэтому оставались революционерами, а вот когда победили, — тут уже кровь полилась чужая — и так получилась советская власть... А весь разговор наш происходит по телефону, я в Париже сижу, а собеседник мой о кровавых родах из швейцарского мирного города Люцерн разговаривает...

Смешно предъявлять друг другу заведомо не выполнимые на сегодняшний день, утопические требования. Скажем, можно и должно поддерживать всей душой борьбу за самостоятельность и освобождение народов, населяющих Советский Союз и Восточную Европу. Но предлагать советской стороне немедленно распустить Империю, как это сделано в "Кельнском воззвании", — наивно и безответственно. Это все равно, что предложить нашему брату, эмигранту, встать добровольно под руководящее знамя коммунистической партии. Куда вразумительнее и практичнее звучало обращение Ю. Афанасьева на датской конференции с призывом к единению, к консолидации людей самых разных взглядов и позиций, но при условии все-таки "признания некой реальности, которая есть в нашей стране и будет оставаться".

Прочтите полный текст выступления Афанасьева*. Прочли? Ну что, ребята? Скажете: опять обман? И какую туфту преподносит нам этот партийный ректор этого эмвэдэшного института? А я бы все-таки попробовала еще раз вступить на эту зыбкую почву — доверия и взаимного интереса. С Афанасьевым. С Искандером. Буртиным. Леном Карпинским. Булатом Окуджавой...

Не знаю, как вам, а мне понравилось выступление Афа-

* См. ПРИЛОЖЕНИЯ — I

насьева. Говоря такие слова, он (в отличие от эмигрантов), сам рискует: перестройка — понятие очень еще хлипкое. Гарантий накаких. Легкий поворот колеса истории — и... все низложены...

Но если оттуда, из Эсэсэрии, сегодня раздаются такие слова, неужто мы не протянем им, пропащим либералам, руку дружбы? С кем тягаться? С кем размежевываться?

Почему сейчас газета "Русская мысль" нападает на "Московские новости"? Сначала писали, что "Московские новости" — это специальный мираж, созданный для Запада — ради отвода глаз. Потом, что это удивительно хитрая штука, публикующаяся в Советском Союзе исключительно для дезинформации. А ведь по средам многие москвичи к б утра встают, чтобы купить эту газету, у ее стендов, на Пушкинской площади, всегда стоит длинная очередь. Сегодня "Московские новости" печатают академика Сахарова. Того самого Андрея Дмитриевича Сахарова, члена редколлегии журнала "Континент", чью ссылку в Горьком "Р.М." сравнивала с Освенцимом, посвящая малейшей информации о Сахарове передовые статьи и многословные анализы. И вдруг — Сахаров со страниц "Р.М." исчез, Сахарова как не бывало: не потому ли, что, оставаясь на своих прежних, принципиальных позициях, он сегодня поддерживает перестройку, считая, может быть, что это полезнее для нашей страны, чем небескорыстное сражение парижской номенклатуры с коммунизмом во всем мире? *

* Вспомним: никто из живущих на Западе диссидентов-правозащитников, выступая в Советском Союзе с очень высокой трибуны — скамьи подсудимых на политическом процессе, никогда не объявлял себя "смертельный врагом" советской власти. Нет, там мы говорили скромнее: "Мы выступили в защиту законности... Мы протестовали против антиконституционного указа. Разве это антисоветские требования?.. Состава преступления в нашем деле нет... Следствие пошло даже на такую по зорную меру, как помещение со мной в тюрьму камерного агента, не коего Трофимова, который сам признавался мне, что ему было поручено вести со мной провокационные антисоветские разговоры с целью спровоцировать меня на аналогичные высказывания, за что ему было обещано досрочное освобождение... И сколько бы мне ни пришлось пробыть в заключении, я никогда не откажусь от своих убеждений и буду высказывать их, пользуясь правом, предоставленным мне ст. 125 советской конституции, всем, кто захочет меня слушать. Буду бороться за законность и справедливость..." (Из последних слов на суде Вл. Буковского).

Золотые слова! Но, попав на Запад, мы их быстро забыли.

То же и с Бродским. "Р.М." устами Горбаневской твердила, что Иосиф Бродский не будет и не может быть напечатан в "Новом мире". Ни за что, и даже "сам" отрицает*. Бац — и напечатали. Прошло несколько месяцев и... бац! — в "Московских новостях" уже читаем: "Вторая ласточка" — это про то, что в журнале "Нева" еще одна подборка стихов. Со словами Бродского, который просит передать "сердечный привет читателям "Невы" и городу, любимому мной".

Сколько раз на страницах "Р.М." мы читали слова о том, что русские писатели-эмигранты обязательно вернутся на родину — хотя бы через много лет, после смерти, своими книгами. Почему сегодня, когда началось это возвращение (т.е. исполнение желаний Солженицына, и Максимова, и Горбаневской) и одного из эмигрантов — поэта Иосифа Бродского — начали печатать в советских журналах, русская газета "Р.М." не радуется? И разве пронзительное послесловие к стихам Бродского А.Кушнера — это не наше общее торжество?*

Но не все так просто в отечестве: тут же, в разнотык, статья в "Комсомольской правде", которая кроет Бродского последними словами и в помощь себе зовет — кого бы вы думали? — опять-таки эмигрантов, густо ссылаясь на фашистующий журнал "Вече".

Не следует ли из этого, что перестроечной журнальной вольнице конец, пора затягивать ремни на последнюю дырочку и возвращаться на скудный самиздатский паек? Нет, сегодня это может означать совсем другое: что наконец-то советская пресса не единодушна, наконец-то она ходит не в ногу, наконец-то на страницах советской печати появилось некоторое разномыслие, а это позволяет надеяться, что разно мыслит не только пресса, но и те, кто за всеми этими газетами и журналами стоит. Может быть, даже и в самом Политбюро разногласия? Но если так, то это же прекрасно! Может быть, они там уже учатся решать свои проблемы мирным путем, а не только способом дворцового переворота, и еще чуть-чуть, совсем немного, лет двадцать, и у нас на родине тоже будет парламент?

* Кстати, а почему "сам" должен обо всем докладывать "Русской мысле"? У "самого" тоже могут быть свои соображения.

** Мы не можем отказать себе в удовольствии перепечатать это послесловие полностью. См. ПРИЛОЖЕНИЯ — II

И нам ли здесь, сидя в парижских кафе и мюнхенских пивных, диктовать им условия дальнейшей перестройки? Надо понять, что не нам, а им трудно.

Но диктовали и диктуют. И.Шелковский, например, со страниц той же "Русской мысли" однажды предложил художникам-нонконформистам в России: пусть выберут, по какую сторону баррикады они находятся. Те, ясное дело, послали его. Но когда живешь в Париже, так бывает приятно побороться с советской властью на московской баррикаде*.

Вспоминается давняя уже история, когда один весьма уважаемый бывший диссидент, ныне парижанин, предложил советскому поэту Андрею Вознесенскому, который приехал в Париж получать премию Малларме, выбор: или он немедленно просит политического убежища, или ему будет устроен бойкот и сорван его вечер в Бобуре. Мы сидели в кафе на бульваре Сен-Жермен, и бывший диссидент вдохновенно излагал мне этот план и никак не мог понять мои рассуждения о том, что как бы ты ни относился к тому или иному поэту, нельзя брать человека за глотку в таком сложном, тонком, глубоко личном вопросе, как эмиграция. И, вообще, любой человек должен сам решать — только сам и только за себя, — и на какую меру риска он пойдет, и пора ли ему выходить на баррикады, или сразу класть голову под топор эмиграции. Бывшему диссиденту, участнику нашего нравственного сопротивления, все мои доводы были недоступны — он хорошо знал, что человека нужно заставить, и он не мог согласиться, что каждая человеческая особь есть величина самостоятельная.

Чем кончилась эта кровавая история? А ничем. Вознесенский прекрасно читал стихи. Может быть, от гнева, от напряжения, от ожидания взрыва (утром ему преподнесли газету "Либерасьон", где тот же бывший диссидент популярно объяснял французам, что Вознесенский — это новый Азеф), но читал он так, будто с жизнью прощался, как в последний раз. А жена бывшего диссidentа больше никогда не спрашивала у меня рецепт украинского борща...

Недавно в Бостоне братья-эмигранты Т. и Э. Гудава на ли-

* В одной из книг эмигрантского писателя Д.Антонова меня поразила фраза: "Как смело ответила Ирина Иловайская Горбачеву на страницах "Русской мысли"!" Действительно, какое бесстрашие...

тературном вечере предложили группе советских писателей – Ю.Мориц, А.Кушнеру, Ф.Искандеру и Д.Гринину взять с собой и передать "в соответствующие инстанции" списки советских политзаключенных. Братья Гудава в газете "Новое русское слово" свой поступок мотивировали следующим образом: они хотели бы, чтобы "полулегалы" (т.е. названные либеральные писатели) стали "смертельными врагами" советской системы и решились бы "декларировать свою несовместимость с окружающим", ибо "все честное и доброе в Совдепии всегда было либо в тюрьме, либо в эмиграции". Либо – либо. Третьего не дано.

А мне вспоминаются рассказы о Валентине Соколове (Валентин З/К) – лагерном поэте и вечном заключенном. Он считал, что в Советском Союзе вообще не должно быть писателей, артистов, музыкантов, ученых и прочих лиц интеллигентных профессий, потому что своими оркестрами они поддерживают иллюзию, будто это нормальная страна. Валентин З/К считал, что "Один день Ивана Денисовича", напечатанный в "Новом мире" Твардовского, это акция КГБ и сам Солженицын – чекист, ежели печатается в советском издании. А все настоящие писатели, музыканты или художники обязаны находиться в тюрьме. Взгляд – отчаяния, отрицания всего, что есть и было в советской культуре, всего, что играется или читается, издается, выставляется в Советском Союзе. В этом своем умонастроении Валентин З/К был последовательным. Потому-то он и умер в тюрьме.

Это я понимаю. Но когда эмигранты декларируют то же самое только потому, что они уехали? И "там" ничего не может быть, если мы "здесь"? Но тогда, вообще, надо все зачеркнуть. Будьте последовательны, встаньте на точку зрения последнего зека, Валентина Соколова, и все зачеркивайте!

Но вы сидите на Западе...

P.S. Означает ли пафос этих заметок, что, с моей точки зрения, вообще не следует беспокоить советских людей "неудобными" вопросами – о судьбе политзаключенных или войне в Афганистане? Нет, конечно. Но все-таки лучше обращать наши страсти, наше негодование по адресу. На Запад частенько приезжают облеченные властью советские чиновники и даже писатели с бесстыдно-самодовольной доктриной. Давайте воевать с ними. Но при чем здесь Фазиль Искандер? А.Кушнер? Белла Ахмадулина? Они на своем месте и принесли много добра. Они болеют душой не меньше нашего – и за тюрьму, и за прочие беды. Споря с ними, мы ломимся в открытую дверь.



Historikern Jurij Afanasiev, Moskva, i samspråk med redaktören och fd lägerfänglaren Chronid L München.

För mig innebär "rehabilitering" för det första att man upphäver de absurdna och monstruösa anklagelser som riktades mot alla

I detta avseende har vi redan börjat synda. Nikolaj Bucharin, till exempel, är det många som tycker om och det med rätta; men samtidigt glömmer man att påpe-
karin var en av stalinis-
tider tredje:

under denna rehabilite-
cess måste vi ur sovjetma-
nas medvetande slugligt
föreställningen om fol-
som ännu sitter mycke
djupt i detta medvetan-
Juri Afanasiev

В КУЛУАРАХ...

Лев КОПЕЛЕВ – из интервью Би-Би-Си

Главное – это радость, что такая встреча состоялась. Еще год назад я бы не поверил, если бы мне сказали, что я буду сидеть с московскими коллегами, не смею сказать – друзьями, чтоб никого не подвести, и что мы будем сидеть и разговаривать, как разговаривали когда-то в Москве. И еще свободнее, открынее. И надежда, что это не последняя встреча, что это только начало, что эта встреча – отражение каких-то больших процессов, которые происходят у нас на родине.

ПРИЛОЖЕНИЯ — I

Юрий АФАНАСЬЕВ

ВОЗМОЖНОСТИ И ОСНОВЫ ЕДИНСТВА

Я хотел посвятить свое выступление идею всеобщего консенсуса, но с учетом регламента я думаю ограничиться только той частью этой идеи, которая непосредственно относится к нашей встрече, к нашей конференции.

Мне кажется, что эта встреча очень знаменательна в том смысле, что здесь, в этом зале, встретились люди, которые живут в Советском Союзе, и те, которые уехали оттуда (или которых оттуда "уехали"), и представители гостеприимной прекрасной Дании.

История нашей страны, если ее представить в самых основных контурах, это и величественная и трагическая, многострадальная история. В самом деле, только в двадцатом веке было три войны, из которых две мировых, причем последняя из них принесла огромные жертвы нашему народу. Но была еще одна война, которая не значится в официальных справочниках и в энциклопедических словарях, — это война Сталина и сталинизма против своего народа. В ней тоже был поставлен рекорд, мировой рекорд по убийству своих. В этом же веке было три революции, одну из которых по праву называют великой. Эта революция представляла собой колоссальный социальный разлом, и она отразилась — это можно говорить без всяких настяжек — на судьбах всего мира, но прежде всего на судьбах народов нашей страны.

Одним из следствий такой непростой, трудной, многострадальной истории является, как мне кажется, и тот факт, что многие мои соотечественники сегодня оказались разбро-

санными по всему миру. Вот мне и хотелось бы сегодня обратиться к присутствующим, и, в том числе, в первую очередь — к моим соотечественникам, которые оказались за пределами родины, с призывом к единению. Я хотел бы призвать к консолидации людей, находящихся на самых разных позициях, по разному оценивающих даже деятельность КПСС, — от эмигрантов (хотя не знаю, насколько удачно это название) до тех, кто никогда и не помышлял об эмиграции, от вполне официальных сторонников советского строя вплоть до тех, кто находится в открытом разрыве с ним и в прямой оппозиции к нему. Я хотел бы, чтобы все эти, даже на разных флангах стоящие люди, подумали о возможности единения. Вот на какой почве, вот на какой основе.

Первое положение платформы единения — это признание некой реальности, которая есть в нашей стране и будет в ней оставаться. Это означает просто-напросто, что рассуждения о том, как было бы хорошо, если бы то-то было в истории, а того-то не было, или о том, чтобы наше настоящее было не тем, чем оно является, сегодня просто нереальны, беспочвенны. И такой подход не дает никакого основания ни для спора, ни для разговора. Есть и будет на обозримое историческое время некая реальность. И любые замечания, любая критика должна исходить, как мне кажется, из признания этой реальности, хотя бы в том смысле, в каком ее признает, скажем, Рейган, когда встречается с Горбачевым. То есть, как государства признают сам факт существования друг друга.

Но эта реальность — и это второе, и, мне кажется, наиболее или столь же важное положение — эта реальность в нынешнем ее виде — никого не устраивает — ни нас, ни "не-нас". Не устраивает она и руководство нашей партии и, в сущности, именно поэтому идет в нашей стране перестройка. Идет мучительно, трудно, рискованно-противоречиво, с большим количеством вопросительных знаков. В этом признании существующей реальности, но неудовлетворительной, вернее, не удовлетворяющей нас, и требующей существенных, радикальных изменений, в поддержке вектора перестройки, а не каких-то ее частностей и деталей и содергится, как мне кажется, основа для единения.

То есть, реальность должна быть изменена к лучшему, со-

ветский народ должен жить лучше – в этом мы и должны на-
шупать точку соприкосновения или точку совместимости.

Мне думается, что, вообще говоря, у советской интелли-
генции в этом смысле уже имеется некоторый опыт. Перед
отъездом сюда я слушал выступление Лидии Яковлевны Гинз-
бург – у себя в институте. Она рассказывала студентам о
20–30-х годах, о том, как интеллигенция, по ее наблюдениям,
относилась к революции, как она потом переживала это свое
отношение, как она искала и формировалась, вырабатывала свою
позицию по отношению к революции – это повествование ско-
ро будет опубликовано в тыняновском сборнике. Оно достой-
но самого тщательного изучения и внимания.

Она говорила, что и до революции и после революции в
головах молодых представителей интеллигенции того времени
царила невероятная путаница и сосуществовали, пересекаясь
друг с другом, самые разные направления мысли. Она говорила
о том, что до революции в головах царила смесь из модерниза-
ма, индивидуализма, статей Толстого о вегетарианстве, и как-
то само собой разумелось, что Пугачев – это правильно. А по-
сле тот ценностный центр, в котором индивидуализм и модер-
низм скрещивались с народолюбием, расщепился на два цен-
тра, сопряженных и противостоящих.

Но то, что до революции представлялось как освобожде-
ние и как расширение возможностей, сразу вскоре после нее
предстало запретом. Л. Гинзбург говорит как раз о тех точках
соприкосновения, на которых в прошлом оказалось возмож-
ным единение той части интеллигенции, которая пошла за рево-
люцией.

В 30-е годы была своя основа для этого единения. Сей-
час мы тоже много думаем о консолидации нашего общества.
А это очень важно, потому что специфика теперешнего момен-
та, в отличие от того, который последовал за ХХ съездом, за-
ключается в невероятной остроте столкновений и борьбы раз-
личных мнений. Чего никогда не было, как мне кажется, после
20-х годов.

Вот в этих условиях мы ищем консолидации, и я с этим
призывом обращаюсь и к своим соотечественникам, и не толь-
ко к ним. Я думаю, не так уж много я возьму на себя, если ска-
жу, что это могло бы означать, что все, каждый по-своему, со-
храняя независимость мнений и позиций, должны быть сторон-

никами, друзьями перестройки. Это, разумеется, не означает апологетики, обязательного согласия со всеми сторонами тех процессов, которые у нас происходят. Тут каждый, естественно, вправе оставить за собой и оговорки и возражения, и разочарованность, и все что угодно. Но в принципе, есть некоторая данность, некоторая реальность, и она стала сдвигаться. И если спросить: вы рады тому, что она сдвигается, то ответ, видимо, будет: "да". Иначе, наверное, мы бы не встретились здесь. А раз так, значит есть возможность это вот "вы" и "мы" в кавычках, по отношению не только к Западу вообще, но и прежде всего, к нашей эмиграции, ликвидировать или начать его размывать. А мы вместе, я не скажу русские, но российские люди, россияне, мы хотим, чтобы эта страна демократизировалась, чтоб она становилась богаче и свободнее. Мне кажется, многие из нас вправе помечтать об этом.

Я знаю, что у вас могут быть и недовольство, и настороженность, но ведь и мы не дурачки наивные. И у нас есть недовольство и оговорки, и настороженность, даже боязнь, что может что-то сорваться. Тут, конечно, важнее всего не единство, это слово не совсем удачное, и не консолидация, а вот именно движение навстречу друг другу, нормальный человеческий диалог. И что-то вроде расширения зоны консенсуса.

Я даже думал о возможных формах нашего сотрудничества. Я с большим интересом узнал, что Лев Копелев создал свою научную школу и изучает важнейшую проблему диалога немецкой и русской культур. Тема эта необыкновенно интересна, и у нас в стране большая группа ученых, исследователей, историков культуры, лингвистов, литературоведов давно и успешно работает в этом направлении. В частности, есть у нас замечательный, выдающийся философ Библер, который много пишет о философии Бахтина и, прежде всего, о философии диалога. Философия Бахтина в этом смысле, как мне кажется, величайшее достижение нашей гуманитарной мысли и не только нашей. Ведь Гегель и даже Маркс и Ленин, когда они писали о диалектике, все-таки имели в виду одно сознание, которое по-разному воспринимает какой-то предмет. Что касается философии Библера, то там впервые обоснован глубоко и философски сам факт существования разных разумов, разных мышлений, разных сознаний, которые по-разному воспринимают

тот или иной предмет, — а это и есть возможность разного видения в разных культурах разных вещей.

Я думаю, если бы объединить усилия школ советских семиотиков, историков культуры с тем, что делается в школе Льва Копелева, мне кажется, мог бы получиться через какое-то количество лет блестящий результат — конкретное исследование, важное для XX века, о диалогизме мышления народов, наций, культур. Профессор Ефим Эткинд вчера рассказал мне о том, какую работу — огромную, интересную и важную — он ведет по переводу на европейские языки Пушкина, Лермонтова, Алексея Толстого. То, что никогда раньше, в сущности, не делалось, насколько мне известно. Он рассказал также о тех огромных архивных сокровищах, которые есть в Западной Европе, и которые, кажется, можно было бы опубликовать в серии "Из литературного наследия". Это тоже могло бы быть совместным делом европейских ученых, выходцев из России и советских ученых. Мне кажется, что можно было бы подумать, например, об издании у нас избранных сочинений Набокова и, в частности, его лекций о русской литературе, и это тоже могло бы быть совместным предприятием.

До нас докатываются, конечно, отголоски тех дискуссий, которые идут среди выходцев из Советского Союза, и, в частности, нам известно мнение, что, дескать, настоящая литература — это та, которая не имеет тематических, идеальных и прочих тормозов и ограничений, то есть литература, которая вообще не имеет внутренних цензоров, и что такая настоящая литература, дескать, возможна только в эмиграции*.

Что же касается литературы, издающейся или издававшейся в Советском Союзе, то это, якобы, какое-то специфически советское явление и оно к литературе отношение, дескать, имеет касательное. А настоящая литература всегда в эмиграции. Такая точка зрения нам известна. Она несправедлива по отношению к тому, что делается в литературе в Советском Союзе.

Конечно, сталинское время надо исключить, потому что оно было временем борьбы с литературой, литература находилась в неравной борьбе с режимом. Если взять только вехи, по десятилетиям, то из этого многое будет ясно. 20-е годы — это обыски у Горького, первая массовая эмиграция, отречение

* См. ПРИЛОЖЕНИЯ-II — "Некролог".

Блока, в 20-30-х годах травля Есенина и Булгакова и самоотречение Маяковского, в 40-е годы травля Ахматовой, Зощенко и самоотречение Цветаевой, в 50-е годы травля Пастернака, Дудинцева, самоотречение Фадеева и дальше, в 60-е — травля Бродского, Солженицина.

В 60-е годы — новая волна эмиграции. Генофонд нашей культуры истреблялся в огромных масштабах. Вот такая история. Но в этой истории имело место противостояние советской литературы сталинскому режиму, и литература продолжала в труднейших, тяжелейших условиях оставаться умом и совестью нации. Литература внутри нашей страны до перестройки была зажата цензурой, но она сохраняла некоторые преимущества непрекращающегося контакта с советской действительностью. А там — я имею в виду: не у нас — там хоть и говори, что хочешь, но говори на огромной дистанции. Но я думаю, что вот это "вы" и "мы" — это все-таки неправда по отношению к собравшимся здесь. Я думаю, что все хотят блага родине, а это и есть новый вид нового мышления, и пусть эти два новых мышления идут навстречу друг другу.

Спасибо за внимание.

Ю. АФАНАСЬЕВ — из ответов на вопросы

Я понимаю реабилитацию как, во-первых, снятие со всех тех, кто был осужден и репрессирован, всех абсурдных и фантастических обвинений, которые им были инкриминированы.

Во-вторых, как необходимость сказать о всех этих людях полную правду, по той возможности, которую предоставляет историческое знание на сегодня. Надо сказать, что по отношению к некоторым реабилитированным мы уже начинаем грешить. Например, Николай Иванович Бухарин многим очень нравится, и у него было достаточно для этого оснований, он был действительно незаурядным человеком и достоин всяческих похвал и, конечно же, реабилитации, но, подчеркивая все это, иногда забывают сказать, например, о том, что Н.И.Бухарин был одним из идеологов сталинизма. Нам нужна полная историческая правда. В-третьих, в процессе реабилитации нужно искоренить, наконец, в сознании советских людей образ врага народа, который продолжает сидеть в этом сознании пока еще оченьочно.

И вот если в этом смысле посмотреть на процесс реабилитации, то, мне кажется, что все без исключения репрессированные в сталинские времена должны быть поставлены в один ряд. Без исключений. Меня часто спрашивают, а как с Троцким? И Троцкий должен быть в этом едином ряду.

ПРОСТРАНСТВО ПРОЗЫ

Однажды, прошлым летом, читая в "Новом мире" рассказ какого-то писателя, я вдруг обнаружил, что социалистический реализм кончился или кончается. С этим фактом советскую литературу можно только поздравить. Уж очень много вреда искусству принес соцреализм. Общий образ соцреализма я представляю себе как тяжелый кованый сундук, который занял со-бою всю комнату, отведенную литературе в качестве жилья. Так что оставалось либо залезть в сундук и жить под его неусыпной крышкой, либо то и дело наталкиваться на этот сундук, ушибаться, падать, иной раз протискиваться с трудом, боком, или проползать под ним. Теперь этот сундук все еще стоит, но то ли стены комнаты раздвинулись, то ли сундук перенесли в более просторное и проветренное помещение. Да и сложенные туда облачения как-то обветшали, истлели. Говоря иными словами, каноны и постулаты социалистического реализма настолько устарели или опротивели, что никто из серьезных писателей ими уже не пользуется. Рассыпался в прах идол "кавалера золотой звезды". Надоело развиваться целеустремленно в предустановленную всем сторону. Все ищут обходные пути, а кто и в лес убежал и резвится на лужайке, благо из большого зала, где стоит мертвый сундук, это сделать легче. Вот этой литературой я сейчас и займусь.

Я не буду касаться знаменитой обличительной прозы, которая, конечно, делает доброе и полезное дело, за что мы все ей признательны. Но честно скажу: реализм в традиционном духе и воспитательные задачи советской и антисоветской словесности меня мало интересуют. Меня занимает проза сегодняшнего дня в менее известных проявлениях и притом в художественном аспекте. Попытаюсь наметить некоторые общие черты, свойственные этой новейшей прозе.

Первая черта – это усложнившиеся понятия о характере человека, о добре и зле. В рассказе Вячеслава Пьецука "Билет" с первой же фразы персонаж аттестован так: "Бич Паша Божий..." И такое наименование нас ошеломляет. "Бичом Бо-

жым” называли бедствие, наказание, постигшее страну или селение, что тут как будто бы подтверждается явлением бичей-тунеядцев, не желающих работать, этих отбросов общества, преданных проклятию и позору. Однако наш герой, чье прозвище построено на игре слов (бич и Божий), куда выше, благороднее, тоньше, интереснее, нежели честный работяга, выкапывающий из могилы родного отца в надежде найти в кармане покойника потерянный лотерейный билет. Согласно философии Паши Божьего, неудачники, бичи, бродяги, отщепенцы сохраняют нацию от омертвения, от вырождения. Он говорит: “Кто такой был Иисус Христос, если не самый заправский бич!?”

Как видите, поиски героя, положительного героя, разительно сместились с магистрального пути на обочину истории. Но литература тем и живет, что сходит то и дело с протоптанного большака на обочину.

Другая заметная тенденция в развитии современной прозы, это стремление приоткрыть таинственную фантастичность самой жизни. Ведь беда социалистического реализма сталинской поры, в частности, состояла в том, что Сталин прикрепил писателей к действительности, как некогда крепостных крестьян прикрепляли к помещичьей земле. Одной из форм раскрепощения становится своего рода фантастический реализм как способ более углубленного постижения реальности. Примером такого рода может служить замечательная повесть Михаила Кураева “Капитан Дикштейн” — с подзаголовком “Фантастическое повествование”. Строго говоря, ничего фантастического в этой повести не происходит. Но ситуация необычная. Матрос, участник Кронштадтского мятежа, спасая жизнь, называется именем другого, расстрелянного, Дикштейна, которого он почти не знал. И вот теперь он ведет призрачный образ жизни, приспособливая себя к чужой, неизвестной личности. Он становится другим — преувеличенно честен, правдив, аккуратен, хотя все это придумано им под влиянием нового красивого имени — Дикштейн. В сущности, сама категория “характер” не применима к этому составленному из двух людей человеку и вместе с тем как будто не существующему, потерявшему представление о собственной персоне. Это не человек, а мираж. Картины революционной истории сплетаются с мелочами низменной повседневности нашего времени, бессильными заполнить вак-

куум, образовавшийся на месте души. И даже умирает он как-то странно, словно подражая смерти далекого "однофамильца", хотя в одном случае человека пристрелили, а наш герой через сорок с лишним лет умер мирно, от разрыва сердца, не дойдя до дома с парой бутылок пива. Про обоих сказано: "Падал он уже мертвый". Получается, герой умер дважды.

Сходным образом раздваивается окружающая среда. Гатчину, в которой он теперь проживает, несколько раз переименовывают — то в городок Троцк, то в Красногвардейск. То же самое происходит с поселком, откуда он родом: Сергиев Посад превращается в Загорск, по имени революционера Загорского, чье настоящее имя было, оказывается, не Загорский, а Лубоцкий. Это перемигивание и перекраивание имен подстать ирреальному, мнимому образу жизни нашего героя.

Фантастически двоится быт и архитектурно-исторический образ Гатчины — этого, по выражению автора, ближайшего к столице захолустья: "Слева размеренным царственным шагом ступали куранты истории, а справа сыпался и сыпался мелкий песок судеб в бесшумных часах вечности..." Да и весь этот город нелепо раздвоен — и в далеком прошлом, и в отдельных постройках, и в общем архитектурном ансамбле. Помимо аналогий с раздвоенной биографией героя, архитектурный рисунок создает образ нескольких временных срезов, совмещенных в единое пространственное целое. В этом Кураев следует гоголевской традиции. Свои словесные построения Гоголь уподоблял ландшафту или архитектуре. Из Гоголя взят и эпиграф повести, ориентирующий на образ пространства и на затейливость, фантастичность человеческой судьбы: "Зато какая глушь и какой закоулок!"

Тут мы подходим к еще одной стороне и проблеме, которые кажутся мне особенно интересными применительно к нынешней прозе. Ряд авторов добивается того, что можно назвать пространством прозы. Сама словесная масса обладает, оказалось, пространственными параметрами, которые свойственны архитектуре и изобразительному искусству. В повести Вл. Маканина "Отставший" это пространство прозы создается за счет сдвига и пересечения времен. Юродивый мальчик Леша, не подозревая о том, чует золото и периодически отстает от старательской артели. Этой старой легенде вторит современный герой, отставший от любимой девушки. И оба они отстали от ла-

гального мира, к которому запоздало спешат приобщиться. Отстал ссыльный старик, который умирает не дождавшись реабилитации. Отстала жена, приехавшая к нему на могилу. Отец героя каждую ночь видит один и тот же мучительный сон, что он отстал от грузовика. И когда автор приходит к Твардовскому в "Новый мир", он опять отстал: Твардовского там уже нет – сняли с редакторской должности. Выходит, все люди от кого-то или от чего-то отстали. И эти отставания накладываются одно на другое, образуя катящееся и расходящееся, как круги по воде, пространство. Это впечатление усугубляется благодаря тому, что ситуации "отставания" по нескольку раз пересказываются, всякий раз заново, с прибавлением новых деталей и версий. Это притча о жизни и об искусстве, которое, подчас, отставая, натыкается на золото, и жизнь петляет по его следам. В наш век ускорений отрадно про такое "отставание" читать. Столь же отрадна смена акцентов: раньше герои советской литературы были "передовыми борцами", а теперь выясняется, что они "отставшие".

Иной способ раздвигать прозаическое пространство с помощью языка – предлагает Татьяна Толстая в своих небольших рассказах. У нее богатая, сверкающая и подчас, я бы сказал, развесистая, как дерево, фраза охватывает массу вещей. Порою в одной короткой фразе смыкаются слова и вещи, вырванные из разных пластов бытия: "В день, когда ее похоронили, по Неве прошел лед". Постное масло сравнивается с песком аравийских пустынь. Сближаются охота за мужем (то есть желание выйти замуж) и первобытная охота на мамонта. Словесный мир Т. Толстой прозрачен, и кажется – вот-вот улетит или растает в воздухе. И вместе с тем, остро предметен, наполнен колкими образами, вроде: Доктор "достал и положил на низкий столик, на стеклянный медицинский квадратик длинную, тонкую, тоньше комариного писка иглу". Мир этот странен, загадочен и по-детски экзотичен: "Говорят, на озере видели совершенно голого человека... – И что вы видели? – Всё." Сквозь словесную ткань, сквозь расставленные пальцы фраз пробивается сказка.

Татьяну Толстую иногда упрекают в преизбыточности стиля. На мой взгляд, подобные упреки – это aberrация сознания, которое слишком привыкло видеть литературу, расположенную на плоскости. А у Толстой "преизбыточный" стиль – это

мир, который круглится и ширится, это громада проносящейся сквозь человека жизни. Пускай человек маленький и даже жалкий, ничтожный: мир, который он вмещает в себя — порою невольно, — огромен.

Читая и перечитывая Т. Толстую, догадываешься, что у сюжета и языка произведения могут быть разные задачи. Дело сюжета или фабулы — это держать в напряжении, зажав в руках (в зубах), ум и внимание читателя. А дело языка не только связано и занимательно изложить этот сюжет, но также это внимание расслабить и рассредоточить на иных, побочных и даже порою совершенно посторонних вещах, что и рождает в итоге, в соединении сюжета и языка, поэтический образ нового миро-порядка, установленного автором.

Мир Татьяны Толстой прекрасен не потому, что он, как нас учили, отражает прекрасную действительность. Искусство отображает в первую очередь себя. Искусство начинается с загадки. А загадка — всегда остранение. Возьмем простейшую русскую загадку. Что такое: два кольца, два конца, посередине — гвоздик? Подразумевается: ножницы. Однако ножницы не названы, а нарисованы словами и звуками в качестве загадки, в которую мы всматриваемся, которую мы видим (пусть ничего еще не понимая). Ножницы в этом случае изображены остраненно. Искусство видит, что все, абсолютно все вокруг, странно, интересно, уникально, художественно. В этом и состоит прославленная зоркость искусства, а также его доброта, нравственное начало. Искусство видит себя в зеркале действительности и приходит в изумление. Это не самовлюбленность эстета. Это благодарность Богу или природе за то, что, при всех неприятностях, они сотворили и наполнили мир искусством. Или, как говорит Т. Толстая о герое, который проспал всю жизнь и вдруг прозрел: "он благодарно улыбнулся жизни — бегущей мимо, равнодушной, неблагодарной, обманной, насмешливой, бессмысленной, чужой — прекрасной, прекрасной, прекрасной..."

В результате у упомянутых авторов (не только у них, конечно, но я выбрал их для примера, в качестве ручейков, разбегающейся в разные стороны новой прозы) наблюдается повышенное чувство художественной формы. Спрашивается: куда же пойдет, куда направится дальнейшее развитие современной советской словесности? По счастию, предугадать этот про-

цесс невозможен. Искусство развивается путем неожиданностей, потому что оно само — неожиданность. Но я скажу, чего мне хочется, о чем я мечтаю. Я надеюсь, что должно же все-таки измениться и читательское, и писательское сознание советской современности оттого, что с нею рядом совершенно законно публикуют неизданных ранее или изданных в урезанном виде Пастернака и Булгакова, Набокова и Ахматову, Мих. Кузмина и Хлебникова. Ведь эти публикации не просто восстановление упущенного прошлого и не только исполнение долга по отношению к забытым и гонимым писателям. В конце-то концов каждый заинтересованный читатель и писатель мог, приложив старания и немного рискуя, познакомиться с этими текстами и в 50-е и в 60-е годы. Но теперь эти тексты перестали быть криминалом, и публикация этих книг, как бы чисто психологически, перебрасывает легкий висячий мостик из сегодняшнего и завтрашнего дня в "серебряный век" русской культуры. Из конца века мы перебрасываем мостик к его началу, ко временам расцвета. Разрыв — неизменен. Но может же это как-то видоизменить сам состав крови, текущей в теле культуры. И в первую очередь возродить повышенное ощущение формы, свойственное началу столетия.

В 1925 году Вл.Ходасевич, уже находясь в эмиграции, в свою заслугу ставил:

И каждый стих гоня сквозь прозу,
Вывихивая каждую строку,
Привил-таки классическую розу
К советскому дичку.

Ходасевич обольщался. "Классическую розу" привили помимо него. Да и не такой уж "дичок" разросся в советской словесности в 20-е годы. Но, пользуясь аналогией, я спрашиваю самого себя: что же еще такое же хорошее остается привить? И отвечаю: к классической советской розе — именно ради усиленного чувства формы, появившегося у нее, надо бы привить "дичок" модернизма и пост-модернизма.

Случается так иногда, что в развитии прозы участие принимает поэзия или живопись. В русской культуре начала XX столетия лидировали поэзия и живопись, а проза развивалась медленнее, позднее, и ее прихватил мороз. Нам досталось по

крупицам собирать эту прозу, не давшую продолжения в 30-е годы и словно оледеневшую, забитую соцреализмом. Сейчас эти росточки оттаивают и позволяют судить о размахе искусства, с которого началось столетие. Даst Бог, они пустят побеги на новой почве.

Говорят, что модернизм и авангард уже были и давно прошли. Допустимо возразить: а что, реализм более нов? Да и в XIX веке русский реализм был представлен, как минимум, двумя направлениями. С одной стороны, Тургенев, Толстой, Чехов — воспроизведение действительности, главным образом, в правдоподобных формах. А параллельно развивалось искусство, которое, для краткости, я называю утрированной прозой. Это — Гоголь, Достоевский, Лесков, чьи традиции были подхвачены модернизмом, а позднее такими советскими писателями, как Замятин, Зощенко, Булгаков, Бабель. Эти традиции были насильственно прерваны. И я рад, что они сейчас восстанавливаются.

Пусть сбудется пророчество, зафиксированное клинописью на глиняной табличке в Древнем Вавилоне: "Боги разгневались на Вавилон. Близится конец света. Дети перестали слушаться родителей, и каждый хочет написать книгу".

ess i stället ior att ...
inte går så snabbt som
önska", sade exempel- ja Rozanov
optsov, redaktör för den
tidsskriften L... Andrej Sinjavskij's hus
В КУЛУАРАХ...

Василий АКСЕНОВ — из интервью Би-Би-Си

Наряду с новым мышлением, которое проявлялось, были здесь элементы старой "новоречи", исходящие от некоторых членов советской делегации. Но некоторые выступления от некоторых членов советской удивительно откровенными и, я бы даже сказал, вдохновляющими. Больше всего из советских и, я бы даже сказал, вдохновляющими. Юрия Афанасьева и критика Наташи Ивановой. Они были наиболее раскованными, наиболее человечными, и я бы даже сказал — наиболее расшительными. В целом можно сказать, что если этому не будет сделан сильный тормоз и если что-нибудь подобное будет повторяться, то это, конечно, начало новой эпохи.

Om man är friskt i anden.
Grigorij Baklanov, Moskva

РУКОЙ ДУРАКА ЛОВЯТ ЗМЕЮ

Доклада у меня никакого нет, но некоторыми соображениями о творчестве я хочу поделиться.

Меня часто спрашивают: ты русский писатель или ты абхазский писатель. И очень трудно ответить, какой я писатель, потому что до конца я сам не знаю. Я бы избрал такую формулу, что я российский писатель. Но вдруг меня неожиданно спрашивают: "Слушай, а кто тебя переводит?" Ну, всем не объяснишь, что я пишу по-русски. Один мой земляк-кавказец долго у меня допытывался, кто меня переводит — он сам писал не по-русски и хотел иметь, как ему казалось, неплохого переводчика. Я ему морочил голову, получал от него подарки, чтобы познакомить с хорошим переводчиком. В конце концов, я ему признался, что пишу по-русски. Он хотел взять подарки назад, но я не отдал. Я сказал: "Я ж тебя познакомил с переводчиком, а то, что он не хочет тебя переводить, это уже ваше дело". Я это говорю к тому, что это имеет некоторое отношение к творчеству вообще и к сознанию писателя. Я думаю, вот такая некая двойственность сознания писателю свойственна. Как, в общем, и всякому человеку, который осознает, что он когда-то родился и когда-то умрет.

Размышляя о том, что лежит в основе художественного творчества и что лежит в основе того удовольствия, которое мы получаем от него, если получаем, я прихожу к простому выводу, что творчество не имеет никакого другого содержания, кроме свободы. О чем бы писатель ни писал, творчеством, мне кажется, становится то, что он пишет тогда, когда внутри того, что он пишет, конечная идея — это свобода. И в общем, все мы творим настолько, насколько творим свободу. Но на пути к этой свободе у писателя может быть много разных препятствий. Одно, на мой взгляд, из таких мощных препятствий на пути самоосуществления писательской свободы — это ложная идея, ложное представление о том, каков мир и каким он должен быть. Я хочу дать анализ одного стихотворения известного нашего поэта Багрицкого*.

* Имеется в виду поэма "Человек предместья" (ред.).

В конце 20-х — начале 30-х годов началась коллективизация — это очень драматические события нашей истории, сопровождавшиеся многими и многими трагедиями. Большая часть крестьянства была названо кулаками, считалось, что они очень мешают коллективизации и надо их частично уничтожить — самых плохих, а не самых плохих — выслать в Сибирь. И тогда очень много стихов писалось о кулаках. Я не говорю о стихах просто спекулятивных — их было очень много, я говорю о стихотворении искреннем, сильном, драматичном. И вот поразительное наблюдение — как будто тема этого стихотворения должна прочитываться так: это волк, которого окружили люди, и они его уничтожат, загонят. А вот год назад я перечитал это стихотворение и вдруг — все оказалось наоборот. Это про человека, окруженного волками. Этот драматизм, я думаю, у Багрицкого был подсознательно, он так не хотел написать. Но в стихотворении этом, несмотря на формальную победу над кулаком, против которого все, в том числе его собственная дочь, второй пласт сейчас прочитывается совершенно ясно, особенно в настроении самого поэта. Он победитель, он с победителем, но почему-то его душит тоска. Кстати говоря, примерно на эту же тему — о кулаках — написаны стихи другими талантливыми поэтами — Павлом Васильевым и Борисом Корниловым. Сегодня можно прочесть в этих как бы обвинениях кулака огромную тайную жалость и любовь.

Я это говорю к тому, что истинный талант, даже если он увлечен ложной концепцией, все равно не может не сказать правды. Но это очень сложный внутренний драматический процесс, в ходе которого поэт, художник может и сломаться.

В свое время у нас было очень много так называемых закрытых тем. Но, я думаю, что для настоящего писателя не только нет закрытой темы, но наоборот, по какому-то инстинкту свободы, он как раз устремляется в закрытую тему. У меня в детстве был сумасшедший дядюшка — я о нем написал много рассказов — я дразнил его, и один из способов был такой: если он сидит в комнате, а кто-то, выходя из комнаты, выразительно закрывает дверь, он мгновенно устремляется ее открывать. Думаю, писатель такого рода сумасшедший, который все время дверь пытается открыть.

Закрытая тема у нас связана с именем Сталина, и сам Сталин был закрытой темой. Кроме од, конечно. Но у нас в Абха-

зии к Сталину особое отношение. У нас был свой роман с ним. Недаром говорят, что абхазец, как только его отрывают от груди матери, норовит вцепиться в усы Сталина.

Тем не менее, на эту тему я писал — может быть одним из первых — лет 20 назад я написал главу в "Сандро" о Сталине. Этим я выполнил небольшой, так сказать, долг, семейный и национальный. Есть такая абхазская пословица "Рукой дурака ловят змею". Я думаю, это может быть определением писателя вообще.

Каждый пишущий знает одну вещь, совершенно законную в творчестве, особенно — в поэзии. Чем дальше друг от друга два члена сравнения, два образа, тем сравнение оказывается ярче. Я думаю, что в этом заложена огромная метафора единства человечества. Если в самом художественном образе нас радует объединение, то, видимо, есть в нас некие силы, которые все-таки могут этот безумный мир привести к какому-то человеческому единству. Но из этого не следует, что я хотел бы Да-нию присоединить к Абхазии.

(Реплика из зала: А Абхазию к Дании?)



"Я НЕ ВРУ..."

Люди очень интересуются перестройкой. Люди задают нам очень много вопросов. Не скрою, мы тоже задаем много вопросов сами себе и друг другу. Многих людей во всем мире волнует судьба нашей перестройки: что из этого будет, выйдет что-то или не выйдет? Нас, поверьте, эта проблема тоже волнует и во много раз больше, потому что это — наша жизнь, наше будущее, наша судьба, наша кровь — все. Но будет глупо, если я вас буду клятвенно заверять, что перестройка получится. Я думаю, что сюда многие люди приезжали и клятвенно заверяли, а потом ничего не получалось. Поэтому я попытаюсь просто рассказать о судьбе отрасли, в которой я работаю, и довести этот рассказ до сегодняшнего дня. А дальше вы уже сами судите — на примере этой отдельно взятой отрасли и честно рассказанной ее истории, о том, что у нас получается. Мне придется начать с азов, потому что степень вашей осведомленности для меня под вопросом.

Мне около 50 лет. Я из поколения людей, которые стали заниматься своей профессией, т.е. пришли в институт, в канун XX съезда партии, в канун исторического выступления Хрущева, где были вскрыты злодеяния Сталина. У нас был набран очень странный институтский курс. Большинство студентов были евреи. Так произошло, потому что в предыдущие годы евреев не брали на эти факультеты, а тут атмосфера в государстве изменилась и многие из них поступили. Мы занимались искусством. Одновременно — и все это еще оставалось от сталинских времен — мы делали этюды, такого, например, содержания: сдавали ребенка для опытов империалистам, т.е. как если бы за деньги отдать ребенка в лабораторию империалистам. При этом мы знали Достоевского, играли отрывки из Чехова, читали и восхищались Толстым. И одновременно многие мои товарищи были искренне убеждены, что замечательный режиссер Мейерхольд, уничтоженный Сталиным, занимался гнусностями и глупостями и извращал пролетарское искусство. Вы можете

меня спросить, как это все могло сочетаться. Я не могу вам ответить на этот вопрос. У вас этого не было, дай вам Бог.

Но постепенно сознание у людей оттаивало. И на 5 курсе студент, который говорил когда-то о Мейерхольде то, что я сейчас процитировал, просто не поверил бы, что он так считал 5 лет назад.

Я пришел в кино в начале 60-х годов. Это было очень интересное время, поразительное. Начинал работать Тарковский. Восхищал всех Хуциев. Рождалось какое-то удивительное кино. Но рядом снимались какие-то чудовищные, идиотические картины. И нельзя было показать коммунальную квартиру. Но тем не менее в кинематографе царила нравственная атмосфера. Тон задавали нравственные художники. Хотя всякого ужаса тоже было полно. Мы работали таким образом: когда-то замечательный преподаватель и режиссер Ромм на вопрос одного студента: "как мне снимать этот кадр?" ответил: "ты его снимай так, как если бы тебе один раз в жизни дали возможность снять один кадр, как будто это дело твоей жизни". И поверьте, мы так начинали работать. Где-то с середины 60-х годов мы перестали понимать, что происходит. Но что-то стало происходить в государстве. Стал уходить кислород. Начинались годы, которые у нас сейчас называют эпохой некоторого застоя или периодом застоя — одним словом, у нас так это стараются определить. А в принципе, можно, что это был период завоевания этого начинающегося искусства казенным искусством. В кинематограф пришло новое начальство, глубоко презирающее художников. Если в предыдущем начальстве были такие, так сказать, деревенские дядюшки, то эти новые были убеждены, что они сами не снимают кино только потому, что им некогда. Потому что у них слишком ответственная работа, чтобы заниматься этой ерундой. Но если бы у них было время, то, конечно же, они сняли бы лучше, чем все эти щелкоперы, которых давно пора гнать. Вот такая, приблизительно, складывалась атмосфера. Регламентации вводились во все, во что только можно ввести. Как снимать, кого снимать. Ненавидели дожди на экране. Вы можете верить мне или не верить — это ваше дело, но взрослые люди всерьез сидели и высчитывали, сколько луж получилось у меня на экране в фильме "Двадцать дней без войны". Министр мог мне всерьез кричать: "Почему у тебя здесь лужи?", и я должен был ему говорить: "Ну, налилась, на-

лилась..." Хотя, я должен вам сказать, эту лужу мы специально делали и даже брезент подложили, чтобы она была. Закрывались талантливые картины, изгонялись талантливые художники. Наше кино переставали смотреть совсем. Как это ни странно, но в нашем обществе кино другое, чем в вашем. Кино – это в очень большой степени идеология. А оно идеологически перестало существовать. Потому что деньги в прокате собирали западные картины, самые дурные из них. Зрители ходили на них, а наше начальство безумствовало и устраивало какие-то всесоюзные премьеры. Наш министр придумал такую форму для иных огромных и очень глупых картин: как солнце идет над Советским Союзом, так должны двигаться премьеры этих фильмов. Но при этом, не надо думать, что мы ходили мрачные, печальные и рыдали. Нет, мы веселились, пили водку и почему-то верили, что все это кончится.

Теперь я должен чуть-чуть коснуться своей судьбы, потому что иначе будет непонятно, как все происходило. Где-то в году 82-ом я снял фильм "Мой друг Иван Лапшин". Он был жестко, буквально в течение нескольких часов запрещен. Киностудия должна была вернуть государству всю его стоимость. У меня это была вторая запрещенная картина. Всего я их снял четыре. Практически я был выброшен с работы и из творческой жизни, я был уничтожен. Я написал письмо в правительство, на самый верх, и уехал жить на дачу. Я сын известного писателя, и мне было полегче, мне не надо было дворником устраиваться.

Дальше стало происходить что-то таинственное, что – я вам сказать не могу. Вокруг меня стали меняться формулировки. Были, например, формулировки, что с такого кино начиналась Польша. Никто не знал, с чего начиналась Польша, но тут определили, что с меня. И вдруг формулировка эта сменилась: стали говорить, что картина, конечно, дрянь, но давайте все же не будем забывать, что это один из наиболее талантливых наших режиссеров. Где там ходило мое письмо – я не знаю, кому оно попадало на столы, этих людей я никогда не увижу. Но, в принципе, такие письма у нас раньше исчезали, их можно было писать на туалетной бумаге. А тут, вы понимаете, выпускают мою картину. Ну, может, и случайно, но шум был большой по Москве, когда ее разрешили, да и вообще в Союзе. Проходит какое-то время – мне разрешают вторую картину. Та была запрещена 16 лет.

И я ничего там не переделывал, была она 16 лет назад — плохая, полежала — стала хорошая. Как коньк.

Что я хочу этим сказать? У Ильфа и Петрова есть такая фраза: заяц лежал под кустом, а в это время шли маневры киевского военного округа, и заяц считал, что вся атака направлена против него. Конечно, мне странно все объяснить на примере одного кинорежиссера, как менялась атмосфера в государстве. Я рассказываю, как я ее ощущал. Потом вдруг в газетах начали ругать наше Госкино за то, о чем все уже давно знали — что это ужас, что творится. Когда это в первый раз попало в газеты, мы поняли, что человек, который это написал, — мертвец. За год до этого газета "Советская культура" задела сына министра, не министра, а сына министра, режиссера. Было сказано, что, может быть, он не совсем самый хороший. Так газета потом извивалась не один раз, а два раза газета писала, что сын — замечательный. И вдруг изруганный кинорежиссер с запрещенными картинами Володя Мотыль пишет в газету "Комсомолка" и несет, несет министра. Такого у нас не бывало с 17-го года. Ну, понятно, что Мотыль — покойник, с ним здороваться даже страшно. Ничего, ничего, и еще одна статья, и еще, и еще — и все пишут. Можно разговаривать! Оказывается, — не опасно. А в это время, кому на горе, кому на радость, готовится 5-й съезд кинематографистов. Это было два года назад. Первое дело — это выборы делегатов. Казалось бы, все понятно — кино-генералы, кинополковники и для фона несколько киносолдат. Но ничего по этой схеме не получается. Сначала начинается с критики, начинается с дочери министра, которую не выбирают, а потом вдруг, как бывает только в России, вдруг не выбрали всех (смех) — главного редактора журнала "Искусство кино" не выбрали, главного редактора журнала "Экран" не выбрали, директора киноинститута тоже не выбрали, ну — я перечислять всех, кого не выбрали, не могу. Выбирают нормальных критиков, честных и делавших все эти годы свое дело, находившихся в загоне, но честно работавших. Их выбирают, а этих всех — вон. А они все и составляют руководство Союза.

Дальше, на следующий день, собираются кинорежиссеры. История повторяется, но в еще более устрашающих размерах. И не выбирают почти никого из предыдущих секретарей Союза. Ни Бондарчука, ни Кулайджанова, никого из наших киновождей. Они — депутаты, они — начальники, они — члены коллегии,

они — боги. А их не выбирают просто на съезд, обычными делегатами, нет. Все говорят: ну щас вам всем покажут, щас соберут всех обратно, — выберите всех как надо! — во щас будет вам всем... Все ходят решительные и бледные, понимают, что этот номер не пройдет, что все щас вернется. Ничего! У нас такой Матвеев есть, жуликоватый режиссер, так он решил, чтоб его не как режиссера выбрали, а как артиста, но его и там изловили и не выбрали.

А ведь это, товарищи, лауреаты всех премий были, герои соцтруда, это ж сказать страшно! Я видел, как один такой невыбранный уходил, так после него медали минут 15 звенели в коридоре. Вот в таких условиях начинается съезд. Происходит он в Кремле, в зале, где выступал Сталин. Выходят один за одним люди и говорят чистую правду о том, что у нас происходит в кино, что так больше жить нельзя и что с этим надо кончать. Это были замечательные дни. Наш съезд одни называли историческим, другие — истерическим. Но все это происходило в присутствии правительства. (*Просит еще 3–4 минуты*). На примере этого вы поймете, что происходит в стране, я ничего не вру. Выходят на трибуну какие-то там люди, которые говорят: остановитесь, что вы делаете, Достоевского читают залу... высаживают... а их изгоняют... хлопает зал и хлопает — и человек не может ничего сказать! Выходит министр, начинает говорить, ему хлопают. Он привык, что ему хлопают, он кланяется, ему опять хлопают, аплодисменты переходят в овацию — министр уходит, что сделаешь...

Считать, что это народное восстание, что это взбучилось, это значит — совсем не понимать нашу страну. Это значит — вот этой группе интеллигенции предложили жить свободно. Надолго или ненадолго — я не знаю. Съезд выбирает свой секретариат, свое правление. И такие люди, как Бондарчук, не прошли. 550, предположим, было всего голосов и из них — 460 против. Потом составили Правление, Правление выбрало Климова, Климов собрал секретариат — сам назвал этих людей. Все эти люди пользовались абсолютным уважением коллег. Ни одного замарашевшего себя человека не было. Первое, к чему приступил съезд, — к выпуску на экран запрещенных фильмов. Их оказалось не один и не два, их оказалось очень много. На одной моей студии было пять. И вот стали появляться на студии режиссеры, огкуда-то когда-то выгнанные, давно не работающие, поста-

ревшие, опухшие, с такими же постаревшими сотрудниками. Они пошли в монтажные, получали пленки, начинали что-то собираять, восстанавливать свои картины. Я, что называется, на плаву удержался, но были такие, что по двадцать лет не работали. Вот Аскольдов, сейчас его картина "Комиссар" пошла в Париже — 20 лет прошло. Одновременно с этим выпустили все картины, все. Одновременно создавалась другая модель кинематографа. В годы застоя у нас действительно вывели особую и многочисленную породу художников-официантов, режиссеров-официантов — чего изволите, то и принесем. Вот их готовили, их учили, они знали, что это хорошо. Теперь мы сделали что? Мы всех режиссеров уволили вообще.

Сами режиссеры выбрали себе худруков. Художественные руководители образовали маленькие правления с договоренностью, что работать будут только одаренные люди, а не люди, которые готовы выполнить любой заказ начальства: "чего изволите? вот мы вам принесли, пожалуйста" — хотите — о победе реализма, хотите — добавим оптимизма, хотите — подбогтаем этого самого — вот вам! Нет! Только художники! Все это должно переизбираться каждые пять лет. Мы выбрали директоров студий. Да, вот взяли и выбрали директоров. И через пять лет мы их опять переизберем.

На данном этапе художественным кинематографом управляют сами художники. Есть министр, есть коллегия, есть редактора, все это есть, но я вам даю честное слово, что сейчас дело обстоит так. Правда, когда мои товарищи рассказали это одному известному американскому продюсеру, тот сказал, что сбылась мечта всех сумасшедших: стать директором сумасшедшего дома.

Может быть, действительно нужно следующее поколение небитой режиссуры для того, чтобы кинематограф воскрес. На последнем Пленуме кинематографии Медведев, очень такой влиятельный человек, заместитель министра, сказал: "Вы знаете, — говорит, — вот я планы читаю, все вроде неплохо, но что меня немножко удивляет: я чиновник и должен был бы бояться вас, ваших планов, а я, представьте себе, не боюсь. Что-то, значит, не совсем то, не так". Вот примерно, вкратце, конечно, как сейчас обстоит дело в кино.

Может быть (эта мысль мне пришла уже здесь), — я был раньше выгнанный, уничтоженный, щас я не выгнанный, меня

обласкали всячески, наградили и т.д., и, может, с этих позиций лучше смотреть на кино, чем, так сказать, из-под стола. И поэтому, может быть, я нарисовал слишком радужную картину. Но ненамного. Всё.

В КУЛУАРАХ...

Бенгт ЯНГФЕЛЬД (Швеция) — из интервью Би-Би-Си

Мне кажется, надо приветствовать сам факт этой конференции. И можно, конечно, предъявлять претензии: почему этот не сказал того, почему кто-то явно боится сказать другое. Но это было бы неправильно, потому что, в конце концов, состоялась такая встреча, где сидит советский писатель и аплодирует докладу советского эмигранта. Иногда за-крываешь глаза и становится непонятно, кто говорит, человек из Москвы или человек из Парижа, потому что утверждения у сторон часто по-ти одни и те же, а разногласия, главным образом, в оценке: кто думает, что это пойдет быстрее, кто думает, что из этого вообще ничего не выйдет. Но вообще это потрясающий факт. Действительно, как кто-то сказал, эта конференция имеет историческое значение. Многие в Москве могут быть недовольны этой конференцией, могут быть недовольны и тем, что говорят эмигранты, и тем, что говорят советские представите-ли. Но это единственный путь вперед.

Я думаю, что для первой встречи конференция удачная. Надо учить-ваться, что здесь очень сложные психологические узоры и очень много внутреннего напряжения. Многие эмигранты по праву считают, что они действительно эмигранты из-за того, что сказали слишком рано то, что теперь позволено, поэтому их "эмигрировали". Может быть, у советских людей тоже есть комплекс из-за того, что многие из них молчали тогда, когда другие говорили, и это не может не чувствоваться в воздухе этой конференции.

*Un face-à-face
peu ordinaire a eu lieu
au Danemark
entre dissidents vivant
à l'Ouest et écrivains
sovietiques*

L'appel au repentir
Ecrivains soviétiques : le dialogue de Copenhague

**"ОТСТОЯТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ КУЛЬТУРЫ..."
(Из выступления)**

...Вчера я поймал себя на мысли, что я испытываю странные чувства, находясь в этом зале, слыша кругом русскую речь, но понимая, что это лишь эпизодические общения и этих людей, носителей моего языка, завтра, послезавтра я не встречу на улицах Москвы. И это — последствия нашей сложной и очень противоречивой жизни. То, как ведут эту дискуссию наши датские коллеги, лично у меня вызывает чувство громадной признательности, а также четкое ощущение, что диалог становится нормой, и, что мы, каждый со своей стороны, работаем на эту высокую и очень важную идею.

В нашей жизни, в нашем обществе мы решаем сейчас очень много проблем. Но для нас, здесь присутствующих, для деятелей литературы, культуры, главенствующим, на мой взгляд, является вопрос: сумеем ли мы отстоять независимость культуры? Понятно, что культура не может быть независима от социальных и политических процессов, которые происходят в обществе. Речь идет о другой независимости и о другой самостоятельности. Речь идет о независимости от влияния бюрократического аппарата. Наша культура привыкла быть послушной. И когда обстоятельства изменились, эта привычка мешает двигаться вперед.

Вторая проблема, которая тоже, на мой взгляд, очень важна для нас всех сегодня. Привычно и даже удобно все просчитывать, которые делает общество, отводить во вчерашний день. Каждая новая формация начинала с того, что подвергала резкой критике предшественников, искренне полагая, что с приходом ее, как действенной силы, все недостатки останутся за спиной. И очень важно, что в нашей стране создаются условия, когда мы себе говорим: ни одно принятное сегодня решение не надо считать абсолютно верным. Мы должны иметь в себе волю и силы пересмотреть его, сказать, если оно ошибочно — что оно ошибочно, и только тогда двигаться дальше.

В этом смысле сегодня происходит погружение всего общества и его управлеченческих структур в непривычную стихию правды, когда все знают всё.

В недавнем прошлом управленческие и политические структуры считали, что они не только руководят обществом, но и являются главными производителями правды. Отличительной чертой сегодняшнего времени является тот факт, что общественному мнению возвращают его общественность.

Испокон веков литература в нашем обществе рассматривалась как общественный камертон, отразитель идей и чаяний народа. Это было основополагающей заповедью, которую повторял писатель, преподаватель литературы в школе и даже чиновник, который всегда был уверен, что найдется послушная литература — послушная ему, чиновнику, ибо если она голос народа, то она, значит, его голос. Поэтому не надо думать, что вся перестройка в обществе есть продукт деяния литературы и искусства...

Прошедшие 20—25 лет мы обозначили как "период застоя". История покажет, насколько точен этот термин. Но если его принять, то следует оговориться. Застой практически любого дела начинается с застоя слова. Потому что сначала было Слово. Иначе говоря, литература была лишена возможности быть предвестником перелома. Однако нет правил без исключения. Прогрессивные силы были и в период застоя, они где-то суммировались, они существовали и действовали. В частности, в середине 70-х, этот социальный прорыв, проповедь идеи несогласия с установками взяли на себя драматургия и театр. Пьесы Дворецкого, Михаила Шатрова, Александра Гельмана, Александра Мещалина — это были переполненные залы, а на сцене вершилось то же самое, что происходит на собственной работе почти любого зрителя, но с одним важным добавлением: в театре торжествовала социальная справедливость. Несколько раньше, в конце 60-х, в начале 70-х, эту функцию пробуждения общества — и в этом смысле я не могу согласиться с Василием Аксеновым — взяла на свои плечи деревенская проза. Она выплынула как главное состояние чувство беды и неблагополучности российской деревни. Это был своеобразный рецидив совестливой литературы.

Сегодня мы ведем острые дискуссии о том, каким должен быть у нас социализм. Я глубоко уверен, что мы должны сейчас построить совестливый социализм. Все остальное приложится. Есть одна характерная деталь: мы часто спрашиваем себя, почему в литературе, почему в искусстве перестроечные

процессы возникли сразу, без всякой раскачки. Видимо, потому, что состояние несогласия в обществе находилось уже в состоянии предизвержения...

Чтобы разрушить, нужны минуты, чтобы построить – десятилетия. Нельзя то, что разрушали десятилетиями, построить в несколько часов. Если период застоя, период топтания на месте, исчислялся десятилетиями, то и выход из этого состояния потребует также значительных временных затрат. Поэтому проблемы молодежи в обществе, постижение ею идей перестройки, если угодно, самосозидание, самообразование, – это тоже одна из главенствующих задач дня.

В конечном итоге, молодежь – это материализованная гарантия необратимости процесса перемен в близком будущем. ... Сегодня в нашей стране много говорят о молодежи, потому что процессы демократизации, гласности, молодежью воспринимаются по-своему, с большим максимализмом, вне соответствия с привычными нормами. Мы имеем дело с любопытным эффектом: однажды общество проснулось и увидело на улицах, в институтах, учебных заведениях совершенно другую молодежь. Долгое время в обществе существовали твердые представления о том, какой должна быть "наша" молодежь. Мы разучились видеть молодежь иной. И это прозрение происходит сейчас и происходит очень непросто. Молодежь оказалась разная. Но существовала массовая политическая молодежная организация – комсомол. Это было следствие централизации. Было проще понимать не разную, разнохарактерную молодежь, а что-то единое: комсомол и есть вся молодежь. И, может, еще один момент прозрения наступил, когда общество поняло, что комсомол и молодежь не тождественные понятия. В статьях конституции записано право молодежи на законодательную инициативу. С точки зрения демократических норм – это громадное завоевание. Но всякая статья остается лишь мертвой буквой закона, до тех пор пока нет органического единства между законом и состоянием общества.

Так или иначе, но принципы командно-административного стиля в руководстве проникли и в общественные организации. Общественные организации в нашем обществе перестали быть общественными. Они превратились в проводников идей бюрократического аппарата. Вместо того, чтобы сталкивать мнение какой-то социальной группы с мнением управлеченческих

структур, с мнением масс, лидеры общественных структур были проводниками бюрократических идей в массах. Поэтому создание общественного мнения в нашем Отечестве – это в первую очередь возвращение общественным организациям их общественного начала, их демократичности и терпимости к разным мнениям.

... Постижение молодежью своего места в громадном мире общественного мнения – это еще и факт созревания молодежи. Молодежь в нашем обществе долгое время рассматривалась как сугубо исполнительская сила. Была и осуществлялась теория: вы существуете в мире не для того, чтобы давать идеи, а чтобы выполнять те идеи, которые вам дает государство, подразумевая под этим идеи государственного аппарата. В результате в обществе был блокирован выход молодежи на первые позиции на всех этажах общества. В обществе повился термин "пропущенное поколение". До тех пор, пока молодое поколение не поймет, что происходящее сегодня в нашем обществе ее единственный исторический шанс, мы не можем быть уверены в полной гарантии перемен.

В КУЛУАРАХ...

Самуил РАХЛИН (датский журналист) – из интервью Би-Би-Си.

Трудно высказываться однозначно после такой массы впечатлений, такой массы выступлений. Но сам факт, что эта встреча имела место – в таких условиях, на нейтральной, полосе – это очень большое событие. Я считаю, что если отбросить крайности, с одной и с другой стороны, то в центре останется очень положительный, очень приятный материал для будущих встреч, для размышлений, для приближения того, что я бы назвал – в противоположность телемосту, – человека. Недаром это событие появляется еще одно измерение, потому что можно не только вести беседу, но можно протянуть руку, можно потрогать, удостовериться... И я думаю, что здесь заложено начало большого диалога. Недаром это событие широко обсуждается, сегодня оно во всех скандинавских газетах...

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ

Коренные москвичи знают, что у нас в Москве неподалеку друг от друга стоят два памятника Гоголю. И это памятники двум разным Гоголям. Сперва был Гоголь работы скульптора Андреева, замечательный памятник, где Гоголь — страдающий, сострадающий, несчастный, задумавшийся человек в какой-то женской шали — сидит, грустно окруженный своими героями. Когда-то он стоял в начале одного из московских бульваров. Но в начале 50-х годов мимо этого Гоголя, на его несчастье, проехал автомобиль со Сталиным. И вождю не понравилось грустное выражение лица у Гоголя. И он не скрыл это от окружающих. И уже через какое-то короткое время памятник запретили, куда-то увезли, а на его месте установили совсем другого Гоголя. Теперь это был литературный генерал — помесь Чичикова с Хлестаковым (смех, аплодисменты), который стоит, широко расправив бронзовые плечи, с оптимистической улыбкой глядываясь в автомобильную гарь. В 58-м году, когда у нас немножко потеплело, несчастного Гоголя, того старого, первого, настоящего Гоголя, вытащили из запасников и поставили во дворе домика, где Гоголь умер. И вот такой "полуреабилитированный" Гоголь сидит на задворках Москвы. До сих пор ему не возвращено его законное место.

Вот так, в общем, и с нашей нынешней литературной ситуацией. В нашей литературе и сегодня существуют как бы два Гоголя. Два лика. Я не говорю об эмигрантской и советской литературе. Я имею в виду нашу отечественную, нашу современную советскую литературу.

В середине прошлого года, в редакции журнала "Коммунист" состоялся круглый стол историков. В разговоре приняли участие три академика, пять профессоров и два кандидата наук. Были какие-то оттенки, естественно, в том, как они оценивали ситуацию. Но в одном они были едины: в том, что историческая наука не смогла за последние два года сделать того рывка, который сделала литература. А только что в газете "Мос-

ковские новости" была такая карикатура: маленький мальчик сдает экзамен по истории и спрашивает учителя, как отвечать, по учебнику или как было. Вот литература, в отличие от истории, показывает, как было. Публикации последних двух лет как бы корректируют наше историческое национальное сознание. Литература сегодня создала свою историческую версию, во многом оппозиционную официальным воззрениям, закрепленным в многотомных, тисненных золотом, исторических трудах. Я говорю о таких авторах, как Трифонов, Александр Бек, Анатолий Рыбаков, Владимир Дудинцев, Василий Белов (я имею в виду его "Кануны" – роман о коллективизации), Можаев. Я согласна с Галиной Андреевной Белой, что литература 70-х годов очень много сделала для очищения нашего исторического сознания. Поэтому здесь можно говорить не только о тех произведениях, которые появились в последние два года.

Из более молодых можно назвать Кураева, о котором вчера очень интересно говорил Андрей Донатович Синявский. Потому что в этом фантастическом повествовании впервые дан взгляд на кронштадтский мятеж с другой стороны, а не с той, с которой у нас в литературе смотрели раньше. Литература дает свою концепцию 20-х, 30-х, 40-х, 50-х и даже уже 60-х и 70-х годов, т.е. пишет историю современности.

Наши историки сейчас гораздо охотнее рассуждают о сталинизме, чем о том, что происходило в 60-е годы. У них еще нет исторической концепции. А Владимир Маканин в повести "Один и одна", опубликованной в журнале "Октябрь" в начале 1987 г., постарался дать анализ человека "шестидесятых годов" – присутствующие здесь "шестидесятники" меня, наверное, поймут. Правда, Маканин назвал это поколение несостоявшимся поколением. Я совершенно не согласна с этим его определением и выступила по этому поводу в "Литературной газете". Но интересен сам факт – то, что уже существует полемика вокруг этого произведения.

В общем, у нас сегодня создалось целое направление, которое я обозначаю, как "новая историческая проза". Возникает вопрос, насколько эта проза исторически точна. Это очень сложный вопрос, поскольку писатели фактически были лишены возможности пользоваться архивными материалами. Их архивом были они сами, опыт их семьи, трагический опыт их друзей и близких.

В прошлом году я была в Эстонии, и в Союзе писателей встретилась с одним из старейших эстонских писателей — это было в послеобеденное время, он был очень усталый и бледный. Я работаю в журнале "Дружба народов", и мой журнал интересуется литературами республик, входящих в СССР. И я стала спрашивать его, над чем он работает сегодня. Он сказал, что пишет роман о 20-х годах. Я спросила, какими архивами он пользуется — это был разговор в апреле прошлого года. Он ответил, что его пустили в архивы, но запретили что-либо выписывать. Так что все сведения я nowu вот здесь, сказал он и показал на голову...

К сожалению, у нас действительно присутствуют силы торможения, о которых вам еще здесь никто не говорил. Так что вокруг литературных публикаций на историческую тему идет очень серьезная борьба.

Это напоминает такую игру в ватерполо, когда играют не по правилам и под водой бьют ногами в незащищенный живот. Ну, например, в нашу эпоху гласности и перестройки, газета "Правда" выступает со статьей трех историков, которые, указывая все свои регалии, очень сурово, в запретительном тоне, пользуясь политическими ярлыками, пытаются остановить все постановки пьесы Шатрова "Дальше, дальше, дальше". Шатров не самый мой любимый драматург. Я Чехова люблю больше. Но такой подход к оценке меня возмутил. Такие публикации ставят в тяжелое положение и критику. Они завязывают нам рот, и мы теряем возможность независимого критического высказывания. Вполне вероятно, что у меня мог бы возникнуть критический взгляд на пьесу Шатрова. Но в этой ситуации я не могу выступать с отрицательной оценкой этой пьесы. Так создаются новые сложности в нашей идеологической жизни. Но газета "Правда" вслед за тем уже выступила с письмом нескольких крупных деятелей искусства по поводу этой пьесы, поэтому данный эпизод я считаю исчерпанным. Но вообще ситуация очень напряженная. После публикации романа "Дети Арбата" я знакомилась со статьями о романе Рыбакова в нашей периферийной прессе. Я не буду ничего анализировать, я только познакомлю вас с двумя названиями статей. Одна называлась "Арбат еще не отчество". Другая — "Сибиряки в кривом зеркале". Автор последней статьи возмущался, почему Рыбаков ничего не сказал о том, как хорошо воевали сибиряки в Вели-

кую отечественную войну. Он почему-то забыл, что действие романа происходит в 1934 году.

... Новую историческую прозу у нас дополняют очень сильные публикации из литературного наследия. Они тоже корректируют историческое сознание общества. Все вместе они дают альтернативную историю нашей страны, альтернативную той официальной версии, которая существовала в наших учебниках, в наших официальных исторических трудах последнего времени. Я имею в виду "Котлован" и "Чевенгур" Платонова, "Собачье сердце" Булгакова, "Реквием" Ахматовой, "Софью Петровну" Чуковской, роман Гроссмана "Жизнь и судьба", роман Ямпольского в "Знамени". Ефим Григорьевич Эткинд говорил здесь вчера о том, что нам придется в конце концов переписать историю литературы и пересмотреть многие монографические работы о тех или других поэтах и прозаиках. С этим нельзя не согласиться. Но сегодня литература переписывает нашу историю. Правда, постепенно, как мне кажется, за последние два года историки начали оправляться от шока, нанесенного им литераторами. У нас появилась развернутая историческая публицистика. Как самые сильные я бы отметила материал Поликарпова о Федоре Раскольникове в "Огоньке", статью Сойфера "Горькие плоды" — о Лысенко. Появилась, по-моему, очень интересная статья Головкова о деле Косарева — тоже в "Огоньке". И другие публикации, я думаю, что многие за ними следят. Например, в одном из первых номеров "Московских новостей" появилась публикация, которая называлась "Дочки Арбата". Очень важно, что в этих публикациях, как и в публикациях, связанных с Вавиловым, впервые названы фамилии людей, которые конкретно повинны в гибели других, в доносах. Страна должна знать своих героев. Как она знает теперь фамилию полковника Хвата, который мучил Вавилова. А в статье "Дочки Арбата" названы конкретные фамилии тех людей, которые виновны в репрессиях. И этот процесс, как я считаю, должен продолжаться.

И я хочу поспорить с глубоко уважаемым и высоко читаемым мною Юрием Николаевичем Афанасьевым, который говорил вчера о покаянии. Понимаете, у нас сейчас существуют две концепции, связанные с проблемой покаяния... Первую точку зрения представил вчера Афанасьев. Она заключается в том, что мы должны признать общую национальную вину. Или, — как

говорит критик Лев Аннинский, — виноваты все. Я с этим глубоко не согласна. Я считаю, что если виноваты все, то никто не виноват. Какие-либо параллели с другими режимами, мне кажется, здесь крайне неточными. Потому что в нашей стране в эпоху сталинизма шла война с собственным народом. Это был геноцид, направленный против собственного народа. И делать сегодня народ еще ответственным за то, что происходило, по-моему, крайне неверно.

Сейчас у нас благодаря усилиям многих публицистов происходит крушение старых стереотипов в сознании масс. В частности, рушится стереотип, о котором говорил вчера Юрий Николаевич, — стереотип "враг народа". Происходит очищение массового сознания. Но письма, получаемые сегодня редакциями, свидетельствуют о распространенности вульгарного или, как назвал его Юрий Бургин в своей замечательной статье в журнале "Октябрь", простодушного сталинизма. Этот феномен еще требует своего социологического исследования и психологического объяснения. Достаточно сказать, что когда в первом номере журнала "Дружба народов" был напечатан цикл стихотворений Булата Окуджавы, связанных со Сталиным, я получила очень много писем. К сожалению, должна вам сообщить, что не меньше 80% писем горячо возмущены этой публикацией.

... Пишут, много пишут, и я считаю, что правильно "Огонек" и "Знамя", и "Октябрь", и наш журнал "Дружба народов" печатают эти письма представителей вульгарного сталинизма. Только так мы можем формировать наше общественное мнение, показать разные точки зрения и только тогда может идти какая-то борьба за свою. А что касается общественного мнения, то я хочу рассказать об одном семейном эпизоде. Две недели назад я с дочкой — она у меня учится в седьмом классе — была на гастролях ленинградского балета. И они поставили легенду о манкурте Чингиза Айтматова — как человеку завязывали голову, потом она ссыхалась и у него исчезала память, он превращался в манкурта, он все забывал — и становился рабом. И когда моя дочка увидела, как все это происходит в балете, она сказала мне: "Боже, какой ужас, а где же тогда было общественное мнение?"

И я надеюсь, что сегодня оно все-таки вырабатывается. В этом процессе нельзя не опереться на значение человеческих документов. Это — третье направление публикаций. Я могу ска-

зать, что, например, в журнале "Дружба народов", в третьем номере, печатаются письма Зощенко Сталину и дневники Зощенко, и я считаю, что это очень важный историческо-человеческий документ. В четвертом номере нашего журнала публикуются воспоминания профессора Рапопорта о деле врачей.

... Но происходящее сегодня отнюдь не всем нравится. Включаются силы торможения. Один писатель даже сравнил процесс, идущий сегодня в нашей литературе с автомобилем: он говорит о том, что когда его учили водить машину, ему объяснили, как определять, что вытекает тормозная жидкость. Свою статью, в которой он резко критикует Залыгина (за статью "Поворот"), возвращение Одоевцевой и вообще многие начинания толстых литературных журналов, он заканчивает об разно — что запах тормозной жидкости он уже чувствует, имея в виду, что тормоза у нас уже отказали и пора останавливать машину. Вот я категорически не могу с ним согласиться, но я до сих пор не могу напечатать статью, в которой я свое несогласие высказала*.

Еще существует группа, которую я для себя определила, как "новые эстеты". Они говорят: ну, конечно, это неплохо, что все это сегодня публикуется, но это маловысокохудожественно, есть у нас такой термин. Вот писатель Рекемчук в газете "Литературная Россия" сказал о романе Рыбакова: "Это литература для ленивых". А после того, как журнал "Знамя" напечатал замечательную повесть Бориса Пильняка "Повесть непогашенной луны", критик Владимир Гусев в "Литературной Газете" сквозь зубы похвалил эту публикацию, но строго заметил погившему Пильняку: "Так прозу не пишут". Член редколлегии "Литературной Газеты" Светлана Селиванова в дискуссии об итогах года сказала, что процесс публикаций не должен быть бесконтрольным, что сначала надо разобраться, а потом печатать, потому что потом "разбираться будет поздно".

Накопление информации, которое производит литература, не может быть бесконечным. И сейчас, когда начали широко публиковаться исторические документы и исследования, литература должна все-таки, думать о том, что она прежде всего литература и искать свои специфические формы исследования и анализа исторических процессов. Я думаю, что в кино, например, феномен тоталитарного режима исследован Абуладзе в очень интересной условной форме, хотя я тоже не со всем могу

согласиться. Или в фильме Германа "Мой друг Иван Лапшин" объемность исторического характера тоже воссоздана очень интересно. Что меня немножечко настораживает, — это повышенная серьезность исторической беллетристики сегодня, ее монологизм. Мне кажется, что очень жаль, что в этом процессе почти не участвует смеховая стихия. Потому что "Пиры Валтасара" Фазиля Искандера показывают, как можно с помощью гротеска, смеховой стихии, тоже проанализировать режим. Все-таки Маркс правильно сказал, что чудовечество, смеясь, должно расставаться со своим прошлым.

Тем более, что наша история — это такой страшный, трагический гротеск. Вот, например, происходит XVII съезд, названный впоследствии "съездом победителей", и Сталин шутит, все время шутит, понимаете? И все время идут ремарки: "смех в зале, продолжительные аплодисменты". Он любил пошутить, чтобы всем было понятно. И я сама тоже пошутила, прочитав это: "продолжительные аплодисменты, переходящие в пожизненное заключение или хуже того". Как известно, половина делегатов XVII съезда в течение ближайших четырех лет была уничтожена. Это были те самые, которые смеялись сталинским шуткам в зале. Разве это не гротеск?

А закончить я хочу стихотворением как бы историческим, поскольку оно написано в 49 году, в эпоху "борьбы с космополитами", еще не опубликовано, так что это моя первая, устная его публикация, но оно будет напечатано в одном из ближайших номеров журнала "Дружба народов". Это стихотворение поэта Николая Панченко.

Страна лесов, страна полей, закатов и рассветов,
Страна роскошных соболей и каторжных поэтов,
Весь мир хранит твои меха, а паче — дух орлиний,
Он знает стоимость стиха и шкурки соболиной.
И только ты, страна полей, предпочитаешь сдуру
Делам своих богатырей — их содранную шкуру.

Из вопросов к Н.Ивановой после доклада

— Скажите пожалуйста, какую роль в вашей карьере сыграли ваши обаяние и красота?..

(оживление в зале)

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ

Г.БАКЛАНОВ:

У нас дома никто не поверит, что мы были в Дании и трое суток сидели, не выходя из этого здания. И никакой Дании не видели. Самые острые ощущения испытал Сергей Есин — он каждое утро купался в море. Но мы слышали великолепную песнь о Дании Клауса Ривберга. В отличие от него, мои товарищи и коллеги не спели песни о своей стране, а честно рассказывали о том, что в ней происходит. О трагическом в ее истории, например. Говорили так, как мы дома говорим. И о своих надеждах. И я с большим интересом услышал вчера заявление Нильса Барфорда — цитирую: "Мы находимся в обществе русских, которые не любят самокритики". Может быть, не знаю... У нас был писатель Геннадий Фиш, ныне покойный, однажды в Финляндии он спросил финна: "каким вы себе представляете русского человека?" Тот ответил: "Это очень угрюмый и лишенный юмора человек". Фиш сказал: "Как странно, я именно таким представлял себе финна". Я это говорю к тому, что, может быть, попробуем взглянуть друг на друга не через свои сложившиеся предубеждения, а более реально.

В моем родном городе Воронеже во время войны восемь месяцев стоял фронт. Город разбили. А вот в овощехранилище, куда спрятались женщины и дети, больше ста человек, снарядов не попало, но оттого, что все время снаряды рвались рядом, от сотрясения рухнула крыша и задавила их всех, и никто вначале даже не знал, что они погибли. Если бы разразилась война между нами и Америкой, то так погибли бы очень многие страны, совершенно безвестно, пускай в них даже не попало бы ни одного снаряда. Это я сказал в связи с тем, что вчера Нильс Барфорд заметил, что мы слишком увлеклись нашим далеким соседом и слишком много уделяем ему внимания. Мы ему уделяем внимание, потому что для всех нас это жизнь или смерть.

Сейчас замечают, что в последнее время у нас стало боль-

ше пожаров, наводнений и даже извержений вулканов. Дело в том, что раньше у нас больше сообщали об извержении вулканов — ну, у вас их нет, — в Америке, например. А сейчас мы стараемся сообщать про все, что у нас происходит. И людям кажется, что поезда сходят с рельс чаще. Нашему новому руководству досталось очень тяжелое наследие. Трагедия в Чернобыле произошла сейчас, но заложена она была много раньше.

Говорят, что у победы много отцов. Поражение — всегда сирота. Когда вчера кто-то, не помню кто*, говорил, что наша перестройка пользуется идеями самиздата, я понял, что это уже признание некоторых наших побед. Если мы действительно победим, у нас окажется много соавторов...

... Я никогда в своей жизни не служил и не занимал никаких должностей. Вот Гладилин может подтвердить. Но когда началась перестройка, мне предложили стать редактором журнала, я им стал и полтора года жизни этому отдал. Потому что создалась возможность изменить нравственный климат общества. И для этого ничего не жалко. Да, у нас есть очереди в магазинах, как сегодня кем-то отмечалось. И еще какое-то время будут. Но, я вам скажу, у нас сегодня удивительно интересная и богатая духовная жизнь. И мы верим, что если продлится этот процесс, то вырастут очень здоровые поколения детей, которые станут взрослыми. И совершив такой смелый поворот в гигантской стране — вы знаете — это может только здоровое духовно общество, здоровый духовно народ, несмотря на все беды и несчастья. И мы не собираемся кончать самоубийством. И партия не собирается уходить от власти — я могу успокоить одного из наших оппонентов. Спасибо за внимание.

О.ПОПЦОВ:

Мне представляется очень важной атмосфера, в которой идет тот или иной разговор. Если в разговоре один человек берет на себя роль обвиняющего, предполагая, что другой якобы должен защищаться, то это диалог относительный. Мне кажется, что мы со своей стороны старались быть крайне тактичны-

* Г. Бакланов "забыл" имя Любарского, что было не самым достойным способом полемики.

ми, и хотя мы присутствовали на датско-советской* встрече и по логике вещей должны были бы больше говорить о взаимоотношениях датской и советской литературы, мы подошли с пониманием к реальной обстановке и вели диалог с нашими соотечественниками, которые сейчас за рубежом.

Мы понимаем, что и среди наших соотечественников существуют разные точки зрения относительно тех процессов, которые происходят у нас в стране. Но мы приехали сюда, не для того, чтобы говорить, как мы мало сделали. Мы приехали сюда говорить и о проблемах, которые волнуют нас, и о тех усилиях, которые прилагает наше общество для их решения. И совершенно ясно, что если мы будем декларировать идеи ультиматума, никакого реального разговора, человеческого разговора у нас не может получиться.

Наши соотечественники за рубежом все время нас предупреждали, что не считайте, что мы так наивны и ничего не знаем. Как говорят у нас, не вешайте нам лапшу на уши: мы все знаем, мы знаем, какие идут процессы и какая-либо неточность не пройдет. Однако срыв тона, который так или иначе проявлялся у наших оппонентов, есть лишь свидетельство оторванности от той жизни, от тех процессов, которые происходят в нашем обществе. Если идет процесс освобождения, о чем говорил вчера Любарский, то, видимо, нам всем надо радоваться, что этот процесс идет. А не следует срываться на крик, почему он не идет более стремительно, как хотелось бы кому-то. Всякий процесс идет в естественных условиях.

Конечно, каждый человек считает свою собственную проблему главной проблемой жизни. Пимонов задал вопрос: что конкретно делают редактора журналов? Я думаю, что редактора видят свою главную задачу в изменении атмосферы в обществе, в изменении видения истории, прошлого, настоящего, в изменении отношения к таким понятиям, как социальная справедливость. Мы пытаемся создавать тот общественный климат, который будет климатом уважения, приятия другой точки зрения. Как говорится, у каждого свой крест. Он его несет. И определяя путь каждой публикации, мы обязаны думать и мы думаем, чтобы после этой публикации появилась следующая публикация. И думать о том, что наш путь — это путь пятиминутный, это тоже незнание реальной обстановки.

* Вот она, вот она — эта маленькая неправда...

Одно только очевидно — и этим я кончу: что бы мы ни делали, как бы мы ни делали, сколь бы мы интенсивно ни действовали, любые наши шаги будут на платформе социализма, в который мы верим, и тут нашим оппонентам придется нас извинить. Другого пути мы для себя не видим. Мы будем исходить из того, что вписывается в эту концепцию, которую мы будем максимально демократизировать, за которую — это не высокие слова, — и умирали те, кто умирал во время войны, умирали те, на кого обрушились репрессии. Они, кстати сказать, умирали за идеи социализма, а не против них.

А. ГЛАДИЛИН:

Однажды мы с Григорием Баклановым поехали во Францию в группе советских писателей. И руководитель нашей группы, очень милая женщина из определенной инстанции, будем говорить так, которую — я не думаю, что это военная тайна — мы сразу назвали Эльзой Кох, так вот, она нам давала много инструкций, и одна из них была такая: если услышите на улицах Парижа русскую речь — бегите!

С тех пор прошло много времени и много событий, и вот то, что вы сейчас наблюдаете и при чем присутствуете — это подтверждение некоторой эволюции.

В очень интересном и, может быть, даже знаменательном докладе Юрия Афанасьева говорилось о всеобщей консолидации и о том, что надо помогать процессу, который происходит сейчас в нашей стране, и помогать перестройке.

Я не знаю, разве профессор Эткинд, когда впервые опубликовал книгу Василия Гроссмана "Жизнь и судьба" — и не только на русском языке, но добился того, что она стала бестселлером во Франции, — разве он этим не помогал перестройке?

В свое время в Союзе писателей и Василий Аксенов, и я довольно резко выступали против сложившейся системы в литературе, что в конечном итоге привело к нашему отъезду. Сейчас то же самое, а может, и резче и аргументированнее пишет в своих статьях Наталья Иванова и не только пишет, но и печатает их. Понимаете, мне не хотелось бы считаться, я попросил у

вас слова и вашего внимания для другого. И это будет самое важное в моем выступлении.

Я хочу рассказать о человеке, который был бы счастлив присутствовать в этом зале, слушать все выступления, и общаться с советскими товарищами – не под покровом ночи, как это бывало в Париже, когда к нему приезжали, а вот так свободно, хоть и под внимательными взглядами товарищей из посольства. Я говорю о Викторе Платоновиче Некрасове, который, увы, не дожил до этого дня. Юрий Афанасьев призывал менять стереотипы, ломать привычное мышление. Давайте!

Когда Вика Некрасов выходил из радиостудии, он мне обычно говорил: "Толя, одного я не понимаю, почему меня до сих пор не назначили членом редколлегии "Нового мира". Я отвечал, что не знаю, и что действительно странно. Потому что Вика Некрасов еще даже до перестройки находил в "Новом мире" какие-то хорошие вещи и очень их хвалил. Вот Григорий Бакланов стал чиновником – я тоже стал чиновником, правда, в разных учреждениях. И я могу отвечать за все то, что говорил и за все, что писал Виктор Платонович Некрасов, потому что я ему эти материалы заказывал и я их пускал в эфир. Если мне не верят, я предлагаю – есть специальные службы в Советском Союзе, я не знаю, как они точно называются, но я их называю службами перехвата, которые распечатывают для себя все наши материалы. Я предлагаю назначить специальную комиссию из любых людей в Советском Союзе, которые внимательно просмотрели бы все передачи Виктора Некрасова, все, что он делал о литературе и об искусстве, чтобы установить, можно ли теперь все это печатать в советской прессе.

И я предлагаю пари Григорию Бакланову, и чтобы оно было справедливым, я ставлю ящик водки против бутылки кефира. Я уверен, что все, что говорил о литературе Виктор Некрасов, – все теперь можно печатать. Сколько раз – и это тоже зафиксировано – мы с ним перед микрофоном говорили о том, что сейчас в Советском Союзе удивительное время, что сейчас действительно праздник для советского читателя. И что такого интенсивного появления настоящих книг давно не было.

Все, о чем я рассказывал, происходило в парижском офисе американской радиостанции "Свобода", имя которой для советского человека звучит как табу, и от которой советский человек должен отскакивать как от змеи...

В ПРЕССЕ. . .

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"
1 апреля 1988

Из литераторов эмиграции датские организаторы, руководствуясь своим знанием дела и, возможно, своими «знатчиями», пригласили писателя В.Дансенова (Вашингтон) и А.Синявского (Париж), редактора журнала «Страна и мир» К.Любарского (Мюнхен), лите- ратуроведа Е.Эткинда (Париж) и автора

"МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ"
20 марта 1988

В ЛУИЗАНФ—RFСНА

Н. И.: Новое мышление должно, как мне кажется, проявлять себя в отношении к эмиграции. Судьбы многих складывались драматично. Мы вернули на родину драматично. Г. Иванова. Стихи В. Ходасевича и Г. Иванова. Стихи И. Бродского опубликованы в СССР. Идет процесс реабилитации книг и имён. Мы должны научиться отделять произведение искусства от убеждений и предубеждений его творца. И если в эмиграции появятся (или уже появились) произведения высокого уровня, то наша культура не может на них не отозваться, как же она уже отозвалась на стихи Бродского. А ведь на Западе есть целые «клады» архивов, комментарии, монографии, выдающиеся в области литературы и искусства. Известно, что в СССР вновь возникла русистика.

Г. Б.: Давания, ведется большая работа по изучению русистики. Известно, что в СССР вновь возникла русистика. Кем-то были организованы семинары, в которых приняли участие представители различных институтов. В. Аксенов сделал доклад об эмигрантском авангардном «полифоническом» романе сегодня. Доклад был им написан (наши выступающие имели перед собой только тезисы) и, на мой взгляд, не был удачным. Он не раз упоминал термин «полифонический роман», но у меня сложилось впечатление, что Бахтина он знает понапраснушке. Кокетливое теоретизирование, изыски формы обернулись пустотой содержания. И — не на тему конференции. Хотя его доклад не был политизирован. Но проблемы наши — это уже не его проблемы. Недаром из зала прозвучала реплика: «Литература авангарда, вероятно, очень интересная, только читать ее невозможно».

Сидя в зале, я думал об Аксенове и Искандере. Они начинали вместе. У обоих непростая литературная судьба. Искандера ругали в печати, были сложности с публикациями. Но эти сложности кончились. И Искандер выигрывает рядом с ним. Фазилю не надо выбирать позу, он держится, как гражданин своей страны, как любимый писатель мил-

Н. И.: Ближе к теме встречи был доклад Андрея Синявского — «Пространство прозы», выступление Марии Розановой. Синявский интересно говорил о художественных особенностях советской журнальной прозы последнего года.

Г. Б.: Синявский внимательно следил за нашей текущей прозой. Вообще наши бывшие соотечественники, которые собрались там, читают нашу прессу; не все, конечно одинаково ее оценивают; не

Н. И.: Лев Колпаков тоже в курсе литературных событий и перемен. К нашей встрече им прочитаны были даже февральские номера журнала. И он же в своем выступлении «казал: «То, что я наблюдаю здесь, — это неожиданно».

Г. Б.: Мы должны относиться к людям, уехавшим из нашей страны, или к тем, кто вынужден был в силу определенных обстоятельств покинуть страну, и ощущение гордости за страну, и напряжение, и недружелюбие. Есть и желание поддержать идущие у нас процессы.

Г. Б.: Именно то, что жизнь сдвинулась, именно духовное обновление жизни нашего общества сразу изменило позиции многих наших бывших соотечественников. Вот вы упомянули Розанову — вы заметили, что она выступала с упреком в адрес некоторых эмигрантов?

Н. И.: Да, она сказала, если мне не изменяет память, так: «Почти каждый солировал и не думал о том, как его песня отзовется в другом сердце», и далее: «Некоторые группы эмигрантов называют меня «рукой Москвы». Но если я в Москве не боялась, неужели я буду бояться Максимова?»

ПРИЛОЖЕНИЯ – II

Андрей БИТОВ (?)

НЕКРОЛОГ

Радио сказали голосом друга... как тут выговоришь "бывшего"? Или — прежнего, тамошнего, убывшего?.. Как назвать теперь друга, с которым вы никогда не ссорились и оба, слава Богу, не умерли, а его — нет? Между тем, на второй день разлуки вы поймаете себя на том, что говорите о нем в прошедшем времени, как об умершем, одновременно будучи уверены, что он жив и здоров и желая ему того же в будущем. Вы говорите в прошедшем: "он был такой остроумный", будто он никогда больше не пошутит, или "он был такой честный", будто он с тех пор... и уже не ловите себя на слове, даже произнося "он был такой живой человек". Вот пропасть невстречи между "завтра" и "когда-нибудь", равная "никогда". А что более, чем "никогда", равно смерти? Трепетно-уклончивые формулы "там", "тогда", "по ту сторону", "в ином мире" — слились в нашем сегодняшнем простодушии, одинаково означая и западный мир и загробный. "Неужели умер? — Нет, уехал". "Неужели уехал? — Нет, умер". "Как же я не знал! Когда?.." — воскликнете вы в обоих случаях. "Улететь" стало иметь новый корень "Лета". Но если для нас стало так, то как мы — для них?

Радио сказали голосом друга, и я вздрогнул (тем же голосом, того же друга, но из "того" мира...). Радио сказали загробным голосом друга... Радио сказали по "Загробному Голосу" (на волне 25, 31 и т.д. метров)... Радио сказали, что...

Мне стало так обидно, что оно сказали! что он сказал...

Он-оно сказали, что никого уже "там" не осталось в литературе, что все уже "здесь". Причем "там" — он имел в виду именно нас, оставшихся дома. Где "там", где "здесь"?? И не то мне стало обидно, что сам я оказался за их бортом, а не они за моим, оказался среди тех, кто не в счет, кого и нет, что не попал в очередной список или выпал из очередной обоймы. Обидно мне стало не за себя, а "за нас" — именно тем, чаще прокла-

мируемым, чем встречающимся, патриотическим чувством коллектива. "Как же это НАС нет! а вот Мы!.." — стал я ему в запальчивости перечислять, себе загибая пальцы и не словив себя на том, что совершенно воспринял его логику, меньше всего несогласия выразил в подобном протесте... Пальцев хватило. Нас действительно осталось мало. И все-таки не все же уехали! Не все! Не уехало нас много больше, чем осталось здесь...

Нет, не чувство оставленной родины, не их ностальгию прибавил я в тот миг к поредевшему самому себе, представляя русскую литературу...

Именно сейчас мне позвонили и сказали, что нет больше Юры Казакова. Уехать он не мог — это почему-то ясно. Значит, он умер. А я и не знал!.. Звонок был после похорон. Я уже опоздал. На похоронах, сказал мне незагробный голос все еще здешнего друга, было очень мало народа. Десятка два человека... было бы больше на меня одного... Не может быть! Ведь не каждый день хоронят классика... Хоронили первого прозаика пятидесятых! И в том и в другом смысле — первого! Неужто и его сокровенных читателей осталось так же мало, как нас? Его — забыли. Выходит, забыли. Вот вам убогий тест: никто не пришел. Его смерть не стала, так сказать, общественным событием. Но она — была и есть общественное событие! Еще неведомого нам масштаба, но достаточно необратимого смысла. Пускай он молчал и десять, и пятнадцать лет — но он БЫЛ! Молчал он ЗДЕСЬ. Он ни в чем не уронил и ничем не унизил им же впервые достигнутого уровня зарождавшейся, было, прозы. Молчавший писатель — тоже писатель. Он не врет. Тем более писатель, если он молчит ЗДЕСЬ и У НАС, в нашем разреженном бору. Здесь он замолчал, здесь он молчал и здесь он смолчался. Юрий Казаков скончался не просто порядочным и честным человеком, Юрий Казаков никогда не "умирал как писатель" — он умер *писателем*.

Когда две с половиной тысячи лет назад философа Анахарсиса спросили, кого больше, живых или мертвых, он спросил: "А кем считать плывущих?" (наверно, сказалась его водобоязнь — почти половина дошедших до нас его высказываний содержит эту корабельно-смертельную тему, — достойно увенчанная тем, что это именно он изобрел якорь...)

Так кого же больше, живых или мертвых?.. Вообще-то мы, через две с половиной, уже знаем, кого больше. Ну, а если

не так totallyно, чтобы хоть несколько облегчить задачи, поставленные перед нами Федоровым, — так сказать, "а сегодня" кого больше?

Сколько уехало и сколько ушло? сколько уехало и сколько осталось? сколько умерло и сколько выжило?.. Мартыролог семидесятых не менее впечатляющ, чем тот список, что был голосом друга провозглашен по Загробному Голосу в качестве "всей" уехавшей русской литературы... И то и другое случилось за одно десятилетие!

Высылка Бродского и Солженицына ничем не может быть уравновешена. Но именно тогда не стало и Твардовского, не стало Рубцова, Вампилова и Шукшина — трех бесспорных надежд русской литературы. С отъезда Максимова писательская убыль стала приобретать почти систему: один отъезд — одна смерть. И попробуйте сказать, что они не равнозначны... Можно выстроить два жутких столбика бок о бок: уехали — умерли, — уточняя даты и взвешивая репутации. Не хочется этого бухгалтерского столбика... Но разве не равновелики могут оказаться Некрасов и Домбровский, Гинзбург и Копелев, Коржавин и Глазков, Шпаликов и Горенштейн, Аксёнов и Трифонов, Войнович и Казаков?.. Либо Высоцкий и Галич — оба мертвты. Ах, я перечислил не всех? Добавьте или вычеркните. Но уже сами.

Да и как построишь настоящих писателей в детсадовские пары?

Умер Бахтин (дальне Саранска не выезжавший). Умер Набоков (ближе Швейцарии не возвращавшийся). Умерла Надежда Мандельштам.

Потери за семидесятые годы и впрямь могут привести к мысли, что литературы, какая была и могла быть ЗДЕСЬ, не стало. Пускай не утешает нас то небольшое количество имен, что составило русской литературе XIX века славу более, чем мировую. Ибо если и останется от всех нас в последующих поколениях один человек, то это никак не означает, что остальных могло не быть. Не было бы и этого, единственного и одного. Русская литература не может состоять из одних великих писателей. И может, это не Пушкин заслонил Боратынского или Вяземского, а они его — высветили. Не могут вымереть все хорошие, оставив в живых одного великого. И мамонт

вывелся не от ущербности или неполноценности, а от того, что не нашел стада...

Так же тихо, как Казакова, не стало в этом году Марии Петровых и Варлама Шаламова. Как они молчали!

Как считать умерших ЗДЕСЬ? Можно ли за счет доброй половины этих смертей заявлять, что ЗДЕСЬ литературы УЖЕ не осталось?

Как считать плавающих?..

Александр КУШНЕР

**ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПОДБОРКЕ СТИХОВ
ИОСИФА БРОДСКОГО
В ЛЕНИНГРАДСКОМ ЖУРНАЛЕ "НЕВА"
МАРТ, 1988**

С первых своих шагов в поэзии Иосиф Бродский поражал такой силой подлинного лиризма, таким оригинальным и глубоким поэтическим голосом, что притягивал к себе внимание не только сверстников, но и тех, кто был намного старше и несравненно сильнее нас.

О своем я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На еще безмятежном челе.

В этом четверостишии Ахматова с устрашающей прозорливостью предсказала начинающему поэту его славную и трагическую судьбу. Что касается "золотого клейма", то поэтический эпитет поддержан зрительным впечатлением: у рыжеволосого поэта, когда он читал стихи, проступали на высоком лбу мелкие капельки пота — характерное свойство рыжих людей с ослепительно белой кожей в минуты волнения.

Стихи Бродского расходились в списках, в обход и поверх печатного станка, убедительнейшим образом доказывая изначальное, врожденное свойство поэзии завоевывать сердца с голоса, с лета.

Увы, чем сильнее звучал этот голос, тем подозрительнее относились к нему те, кого Блок в своей пушкинской речи называл "чиновниками", собирающимися "направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение".

В 1964 году Бродский за "тунеядство" был осужден и выслан в глухую деревню Архангельской области. Там он провел полтора года. Самое удивительное, что это произошло в конце хрущевского, как говорится либерального, периода. Большие поэты, как большие деревья, притягивают к себе молнии. Как тут не вспомнить самого прекрасного нашего поэта, умудрившегося оказаться в ссылке в александровские, сравнительно легкие, голубоглазые, маниловские времена?

За Бродского заступились Ахматова, Твардовский, К. Чуковский, Шостакович, очень многое для его освобождения сделала рано умершая Ф. Вигдорова — в 1965 году Бродский был возвращен в Ленинград.

Четыре стихотворения — вот все, что удалось опубликовать Бродскому в родной стране. В 1972 году, перед самым отъездом, он подарил мне подборку своих стихов, вышедших на Западе, с шутливой, но красноречивой надписью: "Дорогому Александру от симпатичного Иосифа в хорошем месте в нехорошее время".

Место было хорошее. Помню, несколько ранее, весной, мы случайно встретились на Крюковом канале. Бродский был бледен и возбужден. Вот тогда он сказал мне о предстоящем отъезде (вопрос еще не был окончательно решен, но решался в эти минуты в какой-то высокой инстанции). Зайдя по пути к дорогому для него человеку, жившему на Римского-Корсакова, чтобы сообщить эту новость, мы пошли к нему домой на Литейный — и в моем присутствии раздался телефонный звонок. Звонили из учреждения; Бродский ответил: "Да" — вопрос был решен. Опустив трубку на рычаг, он закрыл лицо руками. Я сказал: "Подумай, ведь могли и передумать, разве было бы лучше?"

Нет, лучше бы не было. Речь шла о спасении жизни и спасении дара.

Пересадка на чужую почву была вынужденной и тяжелой. Там, в Соединенных Штатах, пришлось перенести две операции на сердце. Помните, у Мандельштама: "Видно, даром не проходит шевеленье этих губ, и вершина колобродит, обреченная на сруб".

Нет, дар не оскудел, не потускнел, но чего это стоило человеку, принужденному учиться "у них – у дуба, у березы"? Можно только догадываться.

Несколько слов о поэзии Бродского. Поражает поэтическая мощь в сочетании с дивной изощренностью, замечательной виртуозностью. Поэзия не стоит на месте, движется, растет, требует от поэта открытий. В ней идет борьба за новую стиховую речь. Сложнейшие речевые конструкции, разветвленный синтаксис, причудливые фразовые периоды опираются у Бродского на стиховую музыку, поддержаны ею. Не вяло текущий лиризм, а высокая лирическая волна, огромная лирическая масса под большим напором. На своем пути она захватывает самые неожиданные темы и лексические пласти.

Однажды в разговоре Бродский внушал мне, что поэт должен "тормошить" читателя, "брать его за горло". Я сопротивлялся, как мог, уверяя, что есть и другая поэзия, не призывающая читателя себя любить, оставляющая ему ощущение свободы. Но как сильна, как мужественна его позиция!

Несколько романтическая, не так ли? Поэт, по Бродскому, – человек, противостоящий "толпе" и мирозданию. В поэзии Бродского просматривается лирический герой, читатель следит за его судьбой, любуется им и ужасается тому, что с ним происходит. С этим, как всегда, связано представление о ценностях: они усматриваются не в жизни, а может быть, в душе поэта. С земными "ценностями" дело обстоит неважно. Оттого и вульгаризмы, грубоść, соседство высокого и низкого, череполосица белого и черного.

Бродский – наследник байронического сознания. Любимый его поэт в XX веке – не Анненский, не Мандельштам, а Цветаева! Но, конечно же, брал он уроки у многих, в том числе – у Пастернака.

Необходимо сказать об одной, редкой особенности – ориентации не только на отечественную, но и на иноязычную тради-

цию. Бродский связан с польской, но прежде всего — с английской поэзией, он блестяще переводил с польского Галичинского, с английского — Джона Донна, Элиота, Одена. (Вот почему пересадка на чужую почву, как и для Набокова, оказалась болезненной, но не губительной).

Одно из самых прекрасных ощущений, данных человеку на земле, — переживание совершающейся справедливости, самой возможности ее в этой жизни. Мы присутствуем сегодня при таком торжестве в самых разных, и не только литературных, областях. Вот еще один завораживающий пример — возвращение поэзии Бродского в родную страну при жизни поэта.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ АККОРДЫ

Конференция в Луизиане "Интеллигенция и перестройка" была отрадным событием. Это признавали все ее участники — западные, советские и эмигрантские. Конференция освещалась во многих иностранных газетах и журналах под шапками: "впервые вместе", "диалог", "призыв к покаянию", "у культуры нет границ", — и все сходились в одном — этот опыт необходимо продолжить.

И только единственная русская эмигрантская газета в Европе — "Русская мысль" не отличилась объективностью и редакционная оценка датских событий вошла в прямое противоречие с материалами своих же корреспондентов и свидетелей — А. Гладилина и Б. Вайля.

И хотя копенгагенец Б. Вайль, хорошо знавший весь подготовительный цикл конференции, четко и недвусмысленно написал, что эмигрантских участников *выбирали датчане* (см. на стр. 58 цитату в цветочках), "Р.М." тут же, на этой странице, намекает, что этот отбор был сделан в Москве и поэтому все происшествие "сильно на руку органам пропаганды из КГБ". Так и хочется сказать по-италиански: *Allegro ma non troppo! Piano, piano, зачем же так?*

А тем временем в Москве, в журнале "Октябрь", напечатали стихи Александра Галича...

С КЕМ НАДО СОВПАДАТЬ ВО ВЗГЛЯДАХ?

Самиздатская полемика

Переписка, которую мы предлагаем вниманию читателей, занимает 13 машинописных страниц в 6-ом (ноябрьском) выпуске самиздатского "Вестника Совета по экологии культуры". Участники полемики — ленинградцы Вадим Лурье, член группы "Спасение", Дмитрий Волчек, редактор самиздатского "Митиного журнала" и Елена Зелинская, редактор самиздатского журнала "Меркурий". Переписка кажется нам знаменательной. Прежде Самиздат выполнял только одну функцию — функцию противостояния власти. Сегодня он обретает другую — здесь идут поиски тактики, выработка стратегии, понимание компромисса не как сдачи и подчинения силе, а как способа достигнуть максимально возможного на данном этапе и при данных условиях. Два десятилетия назад Аркадию Белинкову главной бедой и виной советской интеллигенции казалась ее легкая готовность к сдаче. Проблему сервильизма никак и никогда не удастся считать исчерпанной. Но не меньшую опасность представляет и другая проблема — неумение разработать правильное поведение, неспособность к диалогу с властью и между собой. Пусть читатель судит сам о том, как нелегко даются поиски нового стиля политического поведения, преломляющиеся в этих письмах как поиски нового стиля в журнальной публицистике.

"Синтаксис"

Публикуемая полемика представляется редакции очень важной и характерной. Поддерживая платформу В.Лурье и предоставив ему самому ответить на письмо Д.Волчека, хочется отметить поразившее в письме обстоятельство: автор письма напрочь отказывает В.Лурье в искренности его убеждений, считая свою платформу единственной возможной, а В.Л. представляет хитроумным господином с кукишем в кармане. Стоит напом-

нить Д.В. одно из принципиальных положений, на котором сошлись участники августовской информационной встречи-диалога: "Нет – претензии на монопольное обладание истиной в ущерб права других на самостоятельный поиск". Считая себя истинным демократом и "плюралистом", Д.В. проявляет тоталитарность, зеркально повторяющую государственную.

"Вестник ЭК"

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ВАДИМУ ЛУРЬЕ

Господин Лурье!

Мне довелось дважды прочитать Ваше выступление на встрече с сотрудником журнала – сначала в "Вестнике Совета по экологии культуры" (№ 4, 1987), затем в "Меркурии" (№ 6, 1987). Поскольку, несмотря на сравнительно небольшой круг читателей указанных самиздатских журналов, Ваше выступление имеет определенную общественную значимость (недаром же его сегодня публикуют дважды) и затрагивает существенные вопросы сегодняшней нашей жизни, я счел возможным обратиться к Вам с открытым письмом.

Пафос Вашего выступления, если я правильно понял, в том, что в СССР образовалась новая общественная сила – экологическое движение, которое единственное и способно стать выразителем народных чаяний, вопреки проискам диссидентов и, в особенности, журнала "Гласность" (последний, по Вашим словам, "выгоден только бюрократам").

Да – ваша правда – экологическое движение действительно стало весомой общественной силой, с которой советские чиновники вынуждены поневоле считаться. Верно и то, что это движение пользуется поддержкой значительной части интеллигенции. Что ж, тем прискорбнее отмечать в нем тенденции, выражателем которых являетесь в данном случае Вы. О чем речь? О нерешительности, о локальности – порой комичной – требований, о стремлении выстроить свои органы по уже существующей советской бюрократической схеме, о губительной тяге к

компромиссам. И, наконец, об этом я и буду говорить, о желании любой ценой, в том числе и ценой прямого раскола, отгородиться от правозащитного движения.

Глубоко ошибочным кажется мне мнение, будто правозащитное движение в СССР принадлежит 70-м годам и ныне неактуально, старомодно, вредно, не находит поддержки в мас- сах. Факты говорят обратное. Никогда еще антитоталитарные силы не были так значимы в стране, как сейчас. Некоторое ослабление репрессий за время правления Горбачева повлекло за собой возникновение множества оппозиционных групп и течений — во многих я склонен видеть зачатки будущих политических партий. Таким образом, в условиях демократизации диссидентская оппозиция не только не изживает себя, но и, на-против, расширяется как количественно, так и качественно. Об этом говорит и опыт Польши — своего рода восточно-европейской лаборатории антитоталитаризма — где оппозиционное движение "Солидарность" сформировалось в условиях, весьма сходных с нынешним этапом перестройки.

Вы и Ваши, господин Лурье, сторонники, любите говорить об "экстремизме", которым-де грешит "Крайнее крыло правозащитного движения". Верно, экстремизм и демократия несовместимы, если называть экстремизмом террор, насилие, грабежи и поджоги. Но можно ли называть экстремистами тех, кто выходит на мирную демонстрацию с требованием освободить политзаключенных или соблюдать право на эмиграцию? Очевидно, такого рода акции вполне демократичны. Куда более циничной и противоестественной кажется позиция тех, кто готов жизнь положить за сохранение пусть даже выдающегося памятника архитектуры и при этом не желает замечать страданий своих соотечественников — узников совести или отказников. Тех, кто борется за охрану окружающей среды и при этом равнодушно смотрит на санкционированное властями издевательство над тысячами людей — будь то крымские татары, кришнаниты или пятидесятники.

"Нас сплотил "Англетер", — заявляют сейчас экологи-неформалы. Да, разрушение "Англетера" трудно приветствовать. Но, кажется, пора все же вспомнить о пропорциях историко-политического зрения. В конце концов, "Англетер" — это всего лишь здание, каких на свете немало, дамба, об уничтожении которой вы печетесь — это, в конце концов, камень и песок.

Кому-то эта дамба по душе, кому-то нет, большинству до нее и вовсе нет дела. Тогда как соблюдение демократических свобод, прав человека — ведь именно за это борются правозащитники! — касается каждого из нас. В каком бы районе мы ни жили, какие бы взгляды ни проповедовали. Сталинский террор затронул всех — и внутренних эмигрантов, и обывателей, ко всему безразличных, и правоверных сталинистов. Тоталитаризм не щадит никого — в том числе и тех, кто, откращиваясь от борьбы, заявляет о своей лояльности. Да, времена изменились, сейчас в стране не миллионы политзаключенных, а всего пятьсот человек, но пока они есть, каждый из нас — и я, пишущий эти строки, и любой читатель, и Вы сами, господин Лурье, — можете стать пятьсот первым. Пока полностью не обеспечен механизм соблюдения демократических свобод — любого из нас могут запихнуть в психушку, облыжно обвинить в уловном преступлении, выгнать с работы — в конце концов, вульгарно избить (это средство воздействия особенно популярно в последнее время). Кстати, и "англетеорцы", говорят, подвергались преследованиям: одного из них поспешно призывают в армию, другого выгнали из института, третьего обвинили в насилистенных действиях. А прослушивание телефонов, а перлюстрация корреспонденции, как внутренней, так и международной, а давление на друзей и близких, а вздорные слухи, которые власти специально распускают, чтобы дискредитировать недовольных в глазах общественности, — все это, увы, реалии сегодняшнего дня. Не замечать этого, не протестовать, да еще публично — на встрече с американским журналистом! — порицать тех, кто замечает и протестует, — вот уж воистину недальновидное и опасное поведение.

Признаться, и мне самому долгое время импонировала позиция невмешательства в политические дела. Работа в сфере чистого искусства, пассивное утверждение идеологической незакрепленности художника казались мне идеальной платформой интеллигента в советских условиях. Однако вскоре я понял (вернее, меня заставили понять), что те, кого я не желал признавать оппонентами, да и вообще старался не замечать, давно уже отвели мне место *по ту сторону баррикад*. Думая, что ухожу из борьбы, я поневоле оказался в ее гуще. Увы, ни занятия чистым искусством, ни аккуратное следование абстрактной экологической тематике не способны уберечь нас от нена-

висти ответственного быдла, изначально взявшего на вооружение лозунг "кто не с нами, тот против нас". Так не лучше ли определиться и быть действительно *против*, чем делать вид, будто никакого противостояния нет? Не пора ли вместо робкого осуждения "недемократичности" выборов в Советы, прямо поставить вопрос: а нужны ли эти Советы вообще?

Вы, господин Лурье, пишете: "разве мыслимо механически переносить к нам западную демократию? Демократия для каждого народа может быть только своей собственной". Очевидно, демократия видится Вам этакой абсолютной статуей, на которую каждый волен надевать разнообразные одежды: тот ожерелье из акульих зубов нацепит, другой — сарафан, третий — джинсовую куртку... Между тем демократия была и остается абстрактным понятием лишь для создателей многочисленных советских конституций. На деле — это *раз и навсегда* определенный кодифицированный свод гражданских прав — вещь, согласитесь, весьма конкретная. Мы не можем вытащить по своей прихоти отдельные параграфы из этого свода, полагая, что, допустим, гражданам СССР они ни к чему, — так невозможно вытащить кирпич из стены готового дома. Что такое демократия без свободы печати, например? Разумеется, не демократия вовсе.

"На информационной встрече-диалоге "Общественная инициатива и перестройка", — пишете Вы, — мы избрали курс социалистического развития нашей страны при руководящей роли КПСС". Лихо сказано! А что — могли и не избрать? В последнее время все чаще стали говорить о компромиссах, на которые может или не может пойти интеллигент в отношениях с нынешней "подобрежшей" властью: тема эта вновь стала модной. Думаю, что идти на компромиссы позволено только в экстренных условиях (хотя, помнится, Пастернак все же отказался подписывать "всенародное требование" о смертном приговоре Тухачевскому). Так что теперь, в совсем уж "вегетарианские" времена, как-то неловко читать в *самиздатском* журнале такие вот строки: "мы избрали... при руководящей роли..." Двуличие хорошо на страницах какой-нибудь "Ленинградской правды", там за него гонорары платят, но когда автор самиздатского журнала — недаром ведь Самиздат по традиции пишется с большой буквы — презирая традиционную внутреннюю честность свободной печати, застывает с привычным кукишем

в кармане: пишу, дескать, про "руководящую роль", а потом про то, как в Киришах дети дохнут — пусть большевики подавятся, — право, тошно становится. Кажется, такой простор — любая газета, любой журнал пишут про "руководящую роль" — так нет, надо непременно в Самиздате — а что, кроме этих листков машинописи останется нам от позорных десятилетий российской несвободы? — и здесь топтать и пачкать.

Если прежде участие в нелегальной печати было своего рода гражданским подвигом публициста, то теперь не в меру расшилившиеся "поборники перестройки" воспринимают самиздатскую прессу своего рода свалкой собственных незрелых амбиций. В последние дни приходится сталкиваться не просто с утратой вырабатывавшейся десятилетиями культуры Самиздата, но и с фактами поистине дикими. Довелось мне прощать пару номеров самиздатского журнала "В полный рост!" — двадцать пять машинописных страничек каждый номер. Авторы журнала стремятся возродить у молодежи "веру в коммунистические идеалы". Позволено будет спросить, что это за идеалы такие, если в коммунистической стране проповедовать их приходится в нелегальном журнале? Оказывается, отнюдь не ревизионистские, вполне соответствующие "генеральной линии"... Приходилось слышать и о печатном органе "юных ленинцев", самостоятельно изучающих классиков марксизма. Это ли не абсурд?! На память приходят разве что Средневекование и еретики, под страхом аутодафе читающие Священное Писание в переводах. Но чем лучше самиздатский журнал, посвященный чему угодно — от переименования улиц до спасения редких орхидей — кроме самого, кажется, важного для самиздатчика вопроса о свободе печати?

В своей статье Вы, господин Лурье, выступили в защиту художника Юлия Рыбакова, одного из руководителей ТЭИИ. Известно, что в ряде публикаций официальной прессы Рыбакова пытались противопоставить "честным" неформалам только потому, что он в семидесятых годах был осужден по политической статье. Вы защищаете его. Но как? Вы утверждаете, что поскольку "общественную деятельность" Рыбаков начал "до перестройки, возникает известное недоверие к обоснованности обвинений, возводившихся на него за тогдашнюю деятельность. Но даже если обвинения справедливы, — продолжаете Вы, — нельзя ставить на человеке крест на всю жизнь". Таким обра-

зом, "антисоветская агитация и пропаганда", в которых обвинялся Рыбаков, есть, по-вашему, *преступление*? Преследование инакомыслящих, выступавших против "социализма", есть, по-Вашему, *борьба с преступниками*? Вы говорите, что на раскаившихся не надо "ставить крест". Спасибо за великодушие. Но как быть с теми, кто *не раскаялся*? Обратно в лагеря?..

В заключение статьи Вы обрушиваетесь на журнал "Гласность", который, по Вашим словам, стоит на вредной и неконструктивной позиции. Честно говоря, вредным и неконструктивным кажется другое: сводить междуусобные счеты на встрече с американским журналистом (особенно, если учесть, что "Гласность" издается в США на средства американской общественности). Но давайте по существу. Основная задача "Гласности" — осуществлять общественный контроль за соблюдением прав граждан СССР. Всех граждан — и Вас в том числе. Если "Гласность" выступает за соблюдение зафиксированной в советской Конституции свободы печати — то это касается и Вас, ведь Вам тоже приходится распространять свои произведения нелегально. Если "Гласность" выступает против преследования граждан СССР за их убеждения, то это тоже касается Вас — недаром ведь ретивые чиновники обвиняют "Спасение" в антисоветизме. Так в чем Вы не согласны с авторами "Гласности"? Может, Вам нравится, что невиновные сидят в тюрьмах и лагерях? Что здоровых людей запирают в сумасшедшие дома? Что сотни поэтов и прозаиков не могут издавать свои книги? Что миллионы верующих считаются гражданами второго сорта? Что тех, кто хочет жить в других странах, насилием удерживают в советском гражданстве и лишают элементарных прав? Что крымские татары изгнаны со своей земли? Что документы, зафиксировавшие сталинские преступления, варварски уничтожаются? Ведь именно об этом пишет "Гласность"! Так с чем Вы не согласны, господин Лурье? Неужели для Вас и Ваших соратников главная проблема общества, в котором нам суждено жить, — разрушение третреразрядной гостиницы в Ленинграде?

Не хочется в это верить.

Дмитрий Волчек
редактор "Митиного Журнала"

СТАНОВИТЬСЯ ЛИ РАДИЩЕВЫМ?

Открытый ответ уважаемому мною редактору "Митиного Журнала"

Здравствуйте, Дмитрий!

1. Недовольство "Гласностью"¹ вовсе не означает удовлетворения гласностью официальной. И правозащитную деятельность общественности мы считаем настолько важной, что в рамках нашего собственного движения существует программа "Гражданское достоинство". Мы не считаем "свое" движение исключительно эколого-культурным: его экологокультурная линия – только одна из спектра. Даже группа Спасения давно задохнулась бы, не будь в нашем движении экономистов и юристов. Поэтому "пафос" моего заявления о новой общественной силе в СССР "экологокультурристским" быть не мог.

Помнится, В. Буковский так определил свою программу в обстановке реакции общества на ХХ съезд: "Чтобы никто больше не мог сказать: "я не знал"". Этого и много и мало. Хорошо видеть грязь под ногами, но еще важнее видеть пропасть впереди. Ту пропасть, которую на ученом языке зовут кризисом. Все-таки не диссиденты, а законопослушные экономисты объяснили Горбачеву неэффективность труда при бюрократическом рабовладении и его устами заявили на июньском пленуме с.г., что страна в "предкризисном состоянии".

2. Экономический кризис, разумеется, лишь составная часть Кризиса с большой буквы, который, если будет, ударит по всем: от диссидентствующего кочегара до члена Политбюро.

Зачем Вы так легкомысленно пишете об экологии? – Сами ведь понимаете, что самая лучшая демократия в виде писаного закона посреди всеобщих хронических и наследственных болезней утешит только немногих свободолюбцев. Неполнота каждого десятого ребенка в Ереване не могла быть следствием только отсутствия демократии. Скорее, неполнота того и другого – ребенка и демократии – следствие общей глубинной причины. Конечно, чем лучше законодательство, тем легче жить, но создание работоспособного законодательства возможно только на жизненном опыте общества. Я не отрицаю обратного влияния записанной демократии на жизнь, но степень ее осуществимости в жизни (а значит, и того, что есть возможность и смысл записывать) слишком зависит от

лица каждого народа.

"Истина должна быть принята свободно, а не принудительно. Истина не терпит рабского к ней отношения... Но время новой истории слишком долго задержалось на формальной свободе в принятии Истины, не совершив своего избрания, и поэтому образовало оно формы мысли и жизни, обоснованные не на Истине, а на формальном праве избирать какую угодно истину или ложь, т.е. создало беспредметную культуру, беспредметное общество, не знающее, во имя чего оно существует. Так дошло новое время до предпочтения небытия бытию". "Что такое парламент, как не узаконение раздора, как не преобладание "мнений" над "знанием"... как не бессилие перейти к жизни в Истине?" "Формальная свобода новой истории кончается, необходимо перейти к содержанию свободы, к содержательной свободе". — Я попытался привлечь философа, чье учение о свободе Вам, может быть, ближе, чем мне. Ему (это Н.А. Бердяев) принадлежит только терминологическое различие форм и содержания свободы, но идея его восходит к великой традиции. Формальная свобода — средство, а содержательная — цель, которая может определиться только в самой жизни и никому не дана "априори".

Если Вы и теперь не согласны с моим тезисом о национальной специфике демократии, то я заподозрю, что Вы "знаете, как надо" (помните эту песню Галича).

Смысл экологии культуры менее очевиден, чем смысл охраны природы. Обычно те, кто считают охрану культуры очень важным делом, подразумевают под культурой ту среду, в которой формируется индивидуальное сознание. Мы сейчас всюду видим распад этого сознания: на уровне, не говорю, человечества в целом (здесь оно редко бывает крепким), но даже на уровне народа, города, семьи. Имею в виду не рассудочное сознание, которое создает законы и политические программы, а гораздо более глубокое. "Что не "я", то не "мое" и меня не касается". Отчуждение на такой глубине между народом и его страной (между горожанами и их городом), просто между людьми, не зашить белыми нитками конституций. Вопреки всем идеалистам от идеологий берет свое принцип "позволено все, что осуществимо технически". А Вы знаете, что "все" — это, на самом деле, одно и то же: безудержная прожорливость "я", которое постепенно травится собственными испражнениями.

3. А теперь подумаем: с кем нам надо совпадать во взглядах? Ясно, что и со многими коммунистами, хотя ясно, что не со всеми. Сами знаете, что не для всех коммунистов коммунизм только средство наживы или вера в богоизбранность класса пролетариата. Если даже Горбачев и Яковлев говорят о "ленинской идее приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми", то за этим что-нибудь да стоит. Вот потому мы и стараемся договориться с коммунистической властью, и имеем коммунистов в числе собственных лидеров. Другое дело, что если бы власть была некоммунистическая, то мы пытались бы договориться с ней точно так же — лишь бы она не рассматривала настоящее исключительно как средство для своих (все равно каких) целей. Ведь мы и за уважение к прошлому ратуем только для оздоровления настоящего².

С такой же точки зрения посмотрите на социализм. Вы не приняли всерьез (и пропустили, цитируя в своем ответе) ни объяснения, кого мы поддерживаем в правящей партии, ни цитаты из Яковleva о социализме как развитии и форм, и сущности, а не застывшей "передовой теории". Но мы и на самом деле не против социализма, когда не талдычат, что какая-то административная схема есть лучший строй, а само определение социализма дают через реальность улучшения жизни³. Не постесняюсь привести к случаю слова византийского писателя XIV в. Григория Паламы: "Мы не думаем, что истина может быть найдена в словах и мнениях; она может быть явлена всей жизнью... На всякое слово находится другое слово, но какое слово можно противопоставить жизни?"

Даже если бы "подобрение" верха (напрасно Вы назвали это "подобрением": скорее, верх спохватился) заключалось в экономической надобности отказа от бюрократического рабовладения — даже этого хватило бы вполне для здоровых с ним отношений⁴. Верх пытается вырулить перед пропастью, у него — руль, у нас двигатель, и мы тоже хотим вырулить. Меня устроил бы даже такой девиз рулевых перестройки, как: "чем лучше мы относимся к животным, тем они вкуснее". Однако, важно понять, что это не только так.

4. Если мы не хотим играть во все те же вражьи игры, то мы должны видеть человека и в самом замарашемся аппаратчике. И стараться обращаться к этому человеку сквозь прутья его административно-структурной клетки. Мы уже испытали,

что эхо не всегда бесполезно. В самом общем смысле наше движение можно назвать "экологией настоящего", а потому мы никому не поминаем прошлого. Мы хотим быть в числе тех, кто не пришел судить мир.

Мы не шлем проклятия даже отъявленным злодеям, а Вы обижаетесь. Напрасно: ведь это тоже бескомпромиссность, только более последовательная. Можно сказать, что мы с вами путешествуем в разные стороны, но по одной дороге: Вы из Петербурга в Москву, а мы из Москвы в Петербург. И мы согласны с нашим спутником:

"Лучшие и прочнейшие изменения суть, те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насилистенных потрясений политических, страшных для человечества..."⁵

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Редактора "Гласности" я недавно упрекал в "недобросовестности". В качестве примера приводилась упоминавшаяся и Вами история с уничтожением московских архивов 1937–1938 гг. Знали ли Вы, что материал об архивах принадлежал нашему "законопослушному" движению и уже был подготовлен к печати в "Огоньке"? Что изменила бы в положении вещей публикация "Огонька", можно только догадываться, а вот после публикации "Гласности" повернули такую интригу, что теперь закрыта и тема. Не напоминает ли историю с непубликацией Солженицына в "Новом мире"? – Но тогда хоть надо было своего Виктора Луи содержать.*

2. Посмотрев с такой точки зрения, Вы поняли бы и смысл нашей защиты Ю.А. Рыбакова. Мы обращались к тем, кто считал его судимость

* Как нам сообщили из Москвы, у Лурье неточная информация насчет инцидента с публикацией в "Гласности" заметки об уничтожении архивов. Заметку написал Дмитрий Юрасов (из московской группы "Мемориал"), который сам решить передать ее для публикации именно в "Гласность". Заметка в "Гласности" сорвала публикацию в "Московских новостях" и "Огоньке" статей о "деле Тухачевского", в которых предполагались ссылки на архивные выписки, сделанные Юрасовым. Но в историю с уничтожением части дел "надзорного производства" в Архиве Верховного Суда и Военной коллегии ни "Огонек", ни "Московские новости" вмешиваться не собирались. Наоборот, публикация Григорьянца, вызвав скандал "наверху", кажется, приостановила уничтожение документов. Лурье положился на московские слухи, докатившиеся до Петра в искаженном виде. Там у Григорьянца была другая ошибка: в результате его редакционного примечания к заметке Юрасова получилось, что в архиве жгут следственные дела, а они жгли не следственные, а "надзорные"...

заслуженной, и — совсем не желая ни спорить об этом, ни высказывать свое мнение — мы заметили, что даже если бы так и было, "антирыбаковский" выпад "Сов. Культуры" неэтичен. Мы не хотим спорить там, где все можно решить без спора.

3. Ср. речь Горбачева на XXVII съезде.

4. Яковлев говорил (и я с ним полностью согласен) о "демократизации": "Иногда утверждают, будто мы видим в ней лишь утилитарное средство достижения необходимого динамизма в экономике. Даже если бы дело обстояло так, лично я не понимаю, что тут может вызвать возражения. И все же это одностороннее толкование". ("Октябрь, революция, перестройка". — Правда. 4.II.87, с. 8).

5. А.С. Пушкин. Путешествие из Москвы в Петербург. Полн. собр. соч., т. 7 — Л., 1978, с. 200.

Редакция "Вестника" предоставляет страницы своего журнала для комментария к полемике Д.В. и В.Л., подготовленного редакцией журнала "Меркурий".

СОЧТЕМСЯ СЛАВОЮ?

Пафос открытого письма редактора МЖ заключается в разоблачении "прискорбной тенденции", выразителем которой, на его взгляд, является "господин Лурье"; речь идет о "желании неформалов" ценой прямого раскола отгородиться от правозащитного движения.

Можно по-разному относиться как к правозащитному, так и к новому общественному движению, невнятно называемому неформальным, но надо быть слепым, чтобы не заметить, насколько разнородны эти явления. Они имеют разное происхождение, разные судьбы, возраст и, соответственно, не могут не иметь несовпадающих целей и методов в их достижении.

Общее у них одно — мы верим в это — желание блага нашему отечеству. Но эту цель ставят перед собой столь разные группы и направления, что вряд ли сами правозащитники захотели бы объединиться с кем-либо только по такому признаку. Говорить о расколе между никогда не слившимися движениями так же некорректно, как сообщать о разводе двух людей, не только не состоявших ранее в браке, но и говорящих на разных языках.

Если рассматривать дальнейшие рассуждения г. Волчека с

учетом этой позиции, то направление их приобретает иной характер и сводится буквально к следующему: почему неформалы не бросают немедленно все эти "третъеразрядные клоповники"*, сооружения "из песка и камня" и не выстраиваются в затылок доблестным защитникам прав человека?

Нетерпимость, с которой человек, говорящий от имени диссидентов, требует единомыслия, довольно неожиданна. Меньше всего можно было ожидать, что именно правозащитники откажут нам в праве самим решать, что нам защищать: крымских татар или родной город.

Я не берусь судить, окончило ли диссидентское движение в 1987 г. свой тернистый путь либо, напротив, вступает в новую fazu. Важно другое: в общественной жизни появился долгожданный спектр — и нельзя ни подминать один цвет другим, ни смешивать их в единообразный и привычный глазу мутный поток.

Но нет, непримиримость борца за плюрализм простирается так далеко, что он даже не допускает возможности существования мысли, отличной от его собственной. Только "губительной тягой к компромиссам", циничностью, на худой конец, недальновидностью объясняет он наличие у "господина с кукишем в кармане" позиции, не сходной с позицией правозащитников, притворяясь, что не понимает — я никогда не поверю, что он и в самом деле не понял: защищая "пусть даже выдающийся памятник архитектуры, снос которого трудно приветствовать", Вадим Лурье защищает право гражданина, горожанина самому решать судьбу своего города; с непоколебимым мужеством борясь против строительства дамбы, Петр Кожевников защищает право человека на жизнь, самое главное право, ибо, как уже было подмечено, много ли поможет сверхдемократическая конституция хронически больному дебилу, когда ему нечего будет пить?

Каждая истина конкретна.

Составлять картотеки разрушенных церквей, расчищать кладбища, спасать "дохнувших в Киришах детей" (самое бес tactное место в письме Д. Волчека!), открывать "Бродячую собаку"... Работенка пыльная, не очень заметная — особенно

* Поражает легкость, с которой редактор МЖ усваивает термин, предложенный зампредсполкома, виновного в разрушении Англете ра.

если смотреть из Парижа, — но именно это на наш взгляд — и мы никак не навязываем его ни правозащитникам, ни Дмитрию Волчеку — именно это скорее избавит наши телефоны от прослушивания, письма — от перлюстрации, а преследуемых — от преследования.

Сколько ни кричи "халва, халва!" — во рту слаше не станет...

Представим себе, что требования правозащитников — глубоко справедливые и гуманные — выполнены. Выпущены на свободу политзаключенные, выведены войска из Афганистана, все желающие выехать — выехали. Что дальше? Что изменится в нашей стране? Станут ли доброкачественными продукты? Получат ли полноценное образование наши дети? Выйдут ли из подвалов токсикоманы? Можно ли будет пить ладожскую воду? И где гарантии, что войска, выведенные из Афганистана, не введутся еще куда-нибудь, а мы не завершим наш спор в барке? Перечень этих вопросов может продолжить любой. А вот кто даст ответы? Боюсь, что все те же "законопослушные неформалы", а точнее — люди с неформальным мышлением, не закрепощенные ни корыстью, ни ненавистью, РЕАЛИСТЫ, которые пришли в мир не судить, не сводить счеты, но созидать новые механизмы социального развития, нащупывать и торить пути "мирного сосуществования" не только во всем мире, но и в своей стране.

"Зачем делать вид, что противостояния не существует?" — спрашивает Дмитрий Волчек — не пора ли вместо робкого осуждения недемократичности выборов в Советы прямо поставить вопрос, а нужны ли Советы вообще?"

Давайте поставим. Только уточним для начала: что такое Советы с демократическими выборами? А это, оказывается, тривиальный парламент. Не знаю, как г. Волчека, а меня лично, вместе с Вадимом Лурье и всем цивилизованным миром, совершенно искренне устраивает парламентская система, обеспеченная работоспособной конституцией. Долгие годы наше общество жило в состоянии конфронтации между застывшим чиновничим аппаратом и народом. Сегодня я впервые без стыда и неловкости слушаю и готова поддерживать все, что делается главой нашего правительства. Путь, который он предлагает, РЕАЛИСТИЧЕН, и потому может быть убедителен для изверившегося народа.

Впервые за долгие годы инстинкт нападения, который, как известно, лучшая защита, ожесточение, классическое разделение на своих и чужих — все, что помогало "замечать и протестовать", сегодня может превратиться в "тоннельное мышление". Одна из его примет — непонимание нового общественного движения, уничижительная ирония по поводу его "законопослушности".

Нормальное свойство человека — говорить правду — должно обеспечиваться законом. Мы законопослушны: мы требуем, чтобы ПОСЛУШНЫ ЗАКОНУ были все, от дворника до члена Политбюро. Но грош цена закону, если он не подкрепляется мощным общественным мнением, опирающимся на здравый смысл, терпимость и широту взглядов.

В первой англеровской декларации была такая строчка: "Движение — содружество людей, стремящихся к нормальной жизни".

Нормальной, при которой статьи в уголовном кодексе типа статьи 190 станут противоестественны, как сегодня было бы противоестественно узаконенное четвертование.

Времена изменились. И тем, кто не изменился вместе с ними, еще долго будут непонятны слова и поступки тех, кто нашел в себе мужество расстаться со стереотипами.

И последнее: долгие годы нам внушали, что приверженность к одной политической доктрине — это и есть любовь к Родине. Торжествовало положение, сужающее даже этот, казалось, предельно узкий взгляд, положение, при котором эта доктрина отождествлялась с конкретным политическим деятелем...

И неужели правозащитники, на своих судьбах испытавшие всю подлость этого подлога, будут вводить "новый католицизм", при котором, перефразируя слова Евг. Замятиня, у общественного движения будет только одно будущее — его прошлое?

Не хочется этому верить.

Елена Зелинская



ПРАВОСЛАВНЫЕ, ГЕВАЛТ!

Отечество в опасности.

Советские журналисты (в частности, Е. Лосото в "Комсомольской правде", П. Гутионов в "Известиях") говорят о возникновении в СССР мощной оппозиции неонацистского толка. Западные корреспонденты связывают эту оппозицию с деятельностью "неформального" "культурно-патриотического" объединения "Память". Ни то, ни другое определение, однако, не дает представления о подлинных масштабах явления, о котором идет речь.

Ну что такое неформальное объединение?.. Какие-нибудь панки, металлисты, люберы... Даже, допустим, юные поклонники Гитлера из советских ремесленных училищ... 1 июля прошлого года "Ленинградская правда" поведала о деятельности "Российской национал-социалистической партии" и других подобных "неформальных объединениях" нацистов в ленинградских ПТУ. Суммируя разные сообщения в советской печати и новости Самиздата, узнаем: подобные "неформальные объединения" существуют чуть ли не во всех городах РСФСР и на Украине. Молодые представители класса-гегемона носят свастику, спрятавшие дни рождения Гитлера, разоряют кладбища (где — еврейские, где — братские могилы солдат последней войны), нападают на прохожих, убивают, пытают, насилуют...

Ни члены общества "Память", ни тем более сочувствующие ему, подобным хулиганством не занимаются. И состоят там не какие-нибудь вшивые пэтэушки, а, скажем, генерал-лейтенант Г. Ф. Самойлович (Герой Советского Союза и бывший доцент Академии Генерального Штаба), полковник Еро-

фей Левшов, все (поголовно) руководство Московской организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВОПИК), видные ученые, руководители советских идеологических институтов. В интервью иностранным корреспондентам фюрер "Памяти" Дмитрий Васильев говорит, что у него 30 тысяч сторонников в 30 городах Советского Союза. Выступая в поддержку "Памяти" на заседании Секретариата правления Союза писателей РСФСР во Владивостоке, отчет о котором был напечатан в "Литературной России", главный редактор журнала "Наш Современник" Сергей Викулов заявил, что на стороне этого замечательного патриотического объединения — поддержка и энтузиазм *миллионов*. Судя по материалам последнего (март 1988) пленума Правления СП СССР, опубликованным в "Литературной газете", обществу "Память", а также идеям борьбы с "сионистами и масонами", сочувствует значительная часть руководства Союза писателей СССР.

❖ ❖ ❖

Материалы, в которых история человечества (с доисторических времен и до наших дней) излагается как история противоборства русско-арийского начала жидо-масонским козням, за которыми всенепременно маячит какой-нибудь "сионист" (типа Троцкого, Ю. Мартова или, в крайнем случае, Кагановича), регулярно публикуют — только в столице — три ежемесячных журнала: "Молодая гвардия", "Наш современник" и "Москва". То есть, в одной лишь Москве эти идеи распространяются ежемесячно тиражом в полтора миллиона экземпляров. Сюда следует добавить неизвестное количество провинциальных: "Дон", "Север", "Сибирские огни" — и так далее. Возьмем хотя бы номера некоторых журналов за март 1988 года. В "Нашем современнике" Аполлон Кузьмин нападает на советских историков, в частности, на ректора Историко-архивного института Ю. Н. Афанасьева, за то, что они отказываются видеть в Февральской революции масонский заговор (с подтекстом — сами, мол, эти историки не без того...). В "Молодой гвардии", помимо дежурных нападок на Б. Окуджаву, В. Соснору, покойного Ю. Трифонова, — критик Михаил Лобанов сообщает: "младотурки", учинившие в 1915 году геноцид армян (Гаалат-паша, Энвер-паша, Назым, Джавад), не были, как наивно полагали

ранее, турецкими националистами. Как вычитал где-то Лобанов, младотурки были масонами и вырезали около миллиона армян, "руководствуясь устными указаниями"; при этом за масонами-младотурками стоял расстрелянный в 1937 году жи-до-большевик Карл Радек. Мартовский выпуск "Москвы" открывается статьей кандидата технических наук Михаила Антонова с резкими нападками на сторонников проведения в СССР экономической реформы (А.Аганбегяна, Н.Шмелева, А.Стреляного). Как объясняет Антонов, идея введения в СССР рыночной экономики, а в особенности – конвертируемой валюты, оскорбляет его "национальные чувства как русского патриота и советского гражданина".

Сионисты и масоны убили Пушкина (который, правда, в отличие от Данте, сам был масоном), они же, сговорившись, застрелили Лермонтова. Ни Есенин, ни Маяковский, согласно этим теориям, не кончили жизнь самоубийством, но пали жертвами того же заговора. Сионисты и масоны свели в могилу советских писателей и поэтов: Николая Рубцова, Василия Шукшина и Александра Вампилова.

В своих многочисленных книгах и статьях действительный член Академии медицинских наук, лауреат Ленинской премии хирург Федор Углов ратует за введение в СССР сухого закона, запрещающего не только употребление крепких спиртных напитков, но также пива и марочных вин. По мнению академика, против такого запрета выступают тайные, но коварные враги русского народа. В обоснование последнего тезиса академик обильно цитирует выступления своих дореволюционных коллег, членов Союза Русского Народа. (К чести последних следует заметить, что их точка зрения, по крайней мере, была хоть как-то обоснована: до революции значительная часть кабаков в черте оседлости принадлежала евреям; отсюда и вывод – евреи якобы были экономически заинтересованы в том, чтобы спаивать народ. Нынешние концепции советских последователей Союза Русского Народа, при том, что водочная монополия прочно пребывает в руках советского государства, держатся на несколько иных основаниях). В своем нашумевшем романе "Все впереди" идеи о жидах, спаивающих русский народ, художественно проиллюстрировал писатель Василий Белов. Герой романа Белова, еврей Бриш спаивает русских людей, повинуясь приказам своего хозяина, Дьявола.

В книге Валерия Емельянова "Десионизация", библии описываемого направления умов, говорится, что иудеи только притворяются, что верят в Бога, на самом же деле иудаизм – это сатанизм. По словам Емельянова, заговор сионистов и масонов был задуман 3000 лет тому назад царем Соломоном с тем, чтобы к 2000 году новой эры захватить власть над миром. В той же книге содержится утверждение, что в Соломоновом храме поклонялись Сатане, которому приносились человеческие жертвы. В начале 1970-х годов Емельянов распространял эти идеи в качестве лектора общества "Знание" при Ленинском райкоме КПСС г. Москвы. Лекции эти были прекращены, после того как в 1973 году американский сенатор-республиканец Джейкоб Джавиц заявил официальный протест тогдашнему послу СССР в США А. Добрынину*. Однако, по странному совпадению, тринадцать лет спустя в помещении того же Ленинского райкома КПСС состоялась встреча общества "Память" с представителями советской научной общественности.

Рецензируя роман Белова, заместитель главного редактора "Молодой гвардии" Вячеслав Горбачев писал в своем журнале, что заговор сионистов, масонов и Сатаны является причиной того, что "не складывает и не поет (русский) народ своих песен". По той же причине – наблюдается в Советском Союзе разрушение семьи, алкоголизм и наркомания. В течение прошлого года чуть ли не в каждом номере "Молодой гвардии" и "Нашего современника" появлялись статьи, авторы которых доказывали, что рок-музыку изобрел Дьявол, что рок-музыка стирает с хромосом увлекающихся ею молодых людей (я не шучу!) генетическую память и что, таким образом, целью Дья-

* В начале 1980 г. Емельянов был арестован за убийство своей жены, признан невменяемым и направлен на принудительное лечение в психбольницу. Выписан не позднее 1986 г. Обстоятельства убийства: получив все экземпляры своей книги, Емельянов разоспал примерно 100 экземпляров членам Политбюро, маршалам и другим вождям Советского Союза. После чего его исключили из КПСС – не за идеи, а за нарушение партийной дисциплины, выразившееся в публикации "Десионизации" за границей. Опасаясь, что его уволят с работы, супруга Валерия Николаевича начала его пилить. В процессе скандала Емельянов ударил ее слишком сильно, испугался, разрезал труп на мелкие кусочки и отвез их на машине приятеля на городскую свалку. В начале следствия Емельянов излагал именно такую версию происшедшего, но через пару месяцев передумал и заявил, что его жену убили сионисты.

вала (изобретателя рок-музыки) является уничтожение среди европейской молодежи чувства патриотизма и привитие ей взамен безродного космополитизма.

Разоблачения сионо-масоно-сатанинского заговора отнюдь не лучшим способом отражаются на художественных достоинствах творчества писателей-деревенщиков (В. Распутина, В. Личутина, В. Белова и В. Астафьева). Сила деревенской прозы заключалась в том, что это была литература вопросов: как это получилось, кому было нужно производить геноцид крестьянства под видом "коллективизации", кто виноват в том, что сделали с русской деревней? Магия деревенской прозы мгновенно испарилась, как только вышеперечисленные авторы нашли ответ: русских крестьян специально извели и споили масоны, действующие по заданию евреев, которые, в свою очередь, получают приказы непосредственно от Сатаны.

Вопреки иллюзиям некоторых западных советологов, наши борцы с масонами и Сатаной — вовсе не изоляционисты. В прошлом году семеро руководителей московской "Памяти" во главе с ее формальным председателем Кимом Андреевым и фактическим главой Дмитрием Васильевым обратились с просьбой о поддержке "к патриотам всех стран мира". В тексте их заявления нашел отражение такой, например, любопытный документ, как "Проект Устава Всемирного Антисионистского и Антимасонского Фронта", написанный В.Н. Емельяновым еще в декабре 1979 года и завершающий текст его "Десионизации". Иными словами, партия Д.Д. Васильева явно склоняется к созданию своего собственного Коминтерна.

В лекциях Емельянова от имени "Знания", в его записках тогдашнему партийному и военному руководству и в его книге можно найти утверждения, что исконно русской землей является, например, территория современной Палестины, Афганистан, а также территория современной ФРГ (и, надо полагать, тех стран, которые расположены между государственной границей СССР и "исконно русскими землями" в Западной Германии). Это обстоятельство стоит учесть на будущее. Пока что ученикам Емельянова явно не до того, чтобы предъявлять территориальные претензии к соседним странам.



Некоторые авторы утверждают, что нынешняя активизация общества "Память" связана с либерализацией советского общества при М.С. Горбачеве. Подобные утверждения, однако, напоминают высказывания советских обывателей, убежденных в том, что до 1985 года в Советском Союзе не было ни стихийных бедствий, ни авиакатастроф, поскольку до 1985 года советские средства массовой информации о подобных неприятностях не сообщали. На самом же деле развитие в СССР идей, близких обществу "Память" можно обнаружить и до 1965 года — года возникновения первых независимых, самиздатских источников информации.

В 1965 г. в Москве был открыт предшественник нынешней "Памяти", функционировавший тогда вполне официально, — известный клуб "Родина". Примерно в то же время и на таких же основаниях в Ленинграде появился клуб "Россия", члены которого в 1968 году написали в горком партии донос, где объявили вечер с участием поэтов Иосифа Бродского, Майи Данини, Якова Гордина в ленинградском Доме писателей "сионистским митингом". По этому доносу были уволены двое деятелей ленинградского ССП, организовавших этот вечер, а также исключены из издательских планов рукописи всех трех этих поэтов.

В конце 1965 года один из руководителей Московского горкома ВЛКСМ Валерий Скурлатов отпечатал на ротапринте и распространил среди комсомольских вождей свой "Устав нравов", с изложением подробной программы воспитания молодежи в духе милитаризма, презрения к интеллигенции и крайней ксенофобии. ("Устав нравов", помимо всего прочего, предусматривал стерилизацию женщин, "отдающихся иностранцам"). Впоследствии Скурлатов стал одним из главных пропагандистов в СССР знаменитой "Велесовой книги" — грубой фальшивки, сфабрикованной в 1950-х годах эмигрантом С. Лесным. Наряду с "Протоколами сионских мудрецов", "Велесова книга", задуманная как памятник русского язычества, написанный якобы за несколько тысяч лет до святых Кирилла и Мефодия, является основополагающим документом для В. Емельянова, "Памяти" и остальных.

Увлечение "Велесовой книгой" в конце 1970-х — начале 1980-х гг. совпало с публикацией потока изысканий советских историков-самоучек, доказывающих, что русские были древ-

нейшим в мире народом, от которого произошли и арийцы Индии, и все языки мира. Следует заметить, что подобные увлечения противоречат традициям XIX века, когда русские люди, пользуясь выражением рассказчика из "Железной воли" Н.С. Лескова, гордились, наоборот, "удалью молодого и свежего народа" (у которого, именно в силу молодости, в отличие от расчетливых немцев с их "железной волей", все еще впереди).

Одним из таких изысканий явился опубликованный в 1983-85 годах в "Нашем современнике" роман-эссе Владимира Чивилихина "Память". Как уверяют члены общества "Память" (а также главный редактор "Нашего современника" Сергей Викулов), Чивилихин и создал общество "Память", имя которого восходит к названию его произведения, переизданного только "Роман-газетой" тиражом в девять миллионов экземпляров.

В начале 1966 года в Москве была арестована группа А. Фетисова, в которую, помимо самого Фетисова, входил уже упоминавшийся выше М.Ф. Антонов, а также архитекторы В.Быков и О.Смирнов. Участники этой группы также разрабатывались любопытные историософские концепции. В частности, в работах Фетисова история человечества рассматривалась как история борьбы между гармонией и хаосом, причем хаос воплощался в еврейском народе, две тысячи лет наводившем в Европе беспорядок, пока на его пути не встали германское и славянское начало — тоталитарные режимы Гитлера и Сталина. Фетисовцы считали последних в высшей степени положительными персонажами. До 1971 года М.Антонов находился в Ленинградской спец психбольнице. Выйдя оттуда, он опубликовал в "Вече" (самиздатском журнале, издаваемом в начале 1970-х годов бывшим политзаключенным Владимиром Осиповым) свой очередной исторический труд — "Учение славянофилов — высший взлет народного самосознания в долининский период". Вскоре, однако, Антонов объяснил публике, что по своим убеждениям он вовсе не фашист, а национал-большевик, и перешел из самиздатских журналов в официальную печать. На сегодняшний день Антонов является ведущим экспертом "Нашего современника", "Молодой гвардии", "Москвы" и "Литературной России" по экономическим вопросам, повторяя из номера в номер свои "патриотические" возражения против привнесения в советскую жизнь рыночных элементов экономики капиталистического Запада.

Наконец, важным источником вдохновившим нынешнее антисемитское движение, была официальная "антисионистская" пропаганда брежневских времен, которая масштабами и ожесточением многократно превосходила любые внешнеполитические интересы Советского Союза на Ближнем Востоке. Именно эта пропаганда окончательно узаконила идею "сионизма" как главной опасности для человечества вообще и для Советского Союза в частности, а также идею всемирного тайного сговора сионистов с масонами в целях достижения мирового господства. В этой связи советские газеты сегодня называют имена трех официальных борцов с сионизмом, которые, по признанию "Советской культуры" и "Известий", являются любимыми лекторами "Памяти" в Москве и Новосибирске: это имена Евгения Евсеева, Александра Романенко и Владимира Бегуна. При этом из статьи Гутионова в "Известиях" выяснилось, что две независимые экспертизы двух разных институтов Академии Наук СССР обнаружили в работах старшего научного сотрудника Академии Наук Белорусской ССР В.Я.Бегуна прямые заимствования из книги Адольфа Гитлера "Майн Кампф" (правда, советский плагиатор последовательно заменил слово "еврей" на слово "сионист", а также разбавил текст Гитлера цитатами из классиков марксизма-ленинизма).

Помимо Евсеева, Романенко и Бегуна можно было бы назвать еще с десяток подобных авторов, советскими журналистами в связи с "Памятью" не упомянутых, но также боровшихся с заговором сионистов и масонов в советских журналах, газетах, на волнах советского радио и по телевидению (Ю. Иванов, Лев Корнеев, Владимир Большаков, Дмитрий Жуков, Николай Яковлев и др.). О том же Емельянове в статьях, посвященных "Памяти", писали довольно много, однако забывали при этом упомянуть, что начинал он свою борьбу с сионизмом, масонством и Сатаной как лектор общества "Знание" и часть своих идей излагал на страницах "Нашего современника" еще в 1978 г.

При всем при этом, однако, часть называться идейным основоположником общества "Память" безусловно принадлежит Иосифу Виссарионовичу Сталину.



Одним из лозунгов, руководствуясь которыми большеви-

ки свергли в октябре 1917 года либеральное Временное правительство, было отрицание патриотизма, отрицание ценности самих понятий родины и отечества для победителей. Факт этот муссируется в эмигрантской печати столько лет, сколько я себя помню. Не припомню, впрочем, чтобы кто-либо из писавших на эту тему задал бы себе простой вопрос: а как бы это большевикам удалось — совершив революцию в воюющей стране под патриотическими лозунгами? Тем более, если главным условием победы этой революции было прекращение крайне непопулярной в стране войны?

Чтобы не уподобляться Д.Д. Васильеву и прочим жуликам из "Памяти", признаем, впрочем, сразу: у В.И. Ленина было много недостатков, но чего за ним не водилось, того не водилось. Антисемитом он не был. Даже наоборот. Борясь с сионистами и с Бундом, он боролся с настоящими сионистами и автономистами, а не с эвфемизмом. На самом деле Ленин просто хотел, чтобы евреи не занимались своими еврейскими делами, а вступали бы в его партию и делали под его руководством сначала русскую, а затем и мировую революцию. Для этой цели и понадобилась в 1912 году вождю мирового пролетариата статья по национальному вопросу. Доказать в такой статье, что евреи — не нация, а следовательно, своих национальных дел у них нет и быть не может, в то время вызвался небезызвестный "чудесный грузин", в помощь которому, на предмет перевода с неизвестных ему иностранных языков, был приставлен молодой русский — Николай Иванович Бухарин.

Не отрицая антнациональный характер большевистской революции, попробуем, тем не менее, посмотреть на нее несколько с другой стороны. Вне зависимости от того, входило это в намерения Ленина, Троцкого и К°, или не входило, но: разрушая политическую структуру послефевральской России, закрывая оппозиционные газеты, арестовывая членов оппозиционных партий, отменяя доселе повсеместно принятую в Европе форму собственности, наконец, ломая созданную Петром Великим и реформированную при Александре II систему управления, — разве не уничтожали большевики все то, что делало Россию страной, похожей на другие европейские державы? И самое главное, разве Русская Церковь — это только русское национальное духовное наследие? Разве не христианство делало нас путь своеобразной, но неотъемлемой частью всего

христианского мира?

Как бы там ни было, по своему психологическому складу большевики с дореволюционным партийным стажем все-таки были революционерами – потрясателями основ, со взглядом, устремленным в будущее. Этот человеческий материал явно не годился для строительства самой реакционной в мире империи, которую – как стало уже совершенно ясно к концу его жизни – строил И.В. Сталин. Равным образом, лозунг "Пролетарии не имеют отечества!" – был хорош только для разрушительной революции. Для целей И.В. Сталина нужна была охранительная, по сути своей консервативная идеология. Такой мог быть только национализм.

Считается, что идею расправы с собственной партией Сталин позаимствовал у Гитлера. Коли так, то ученик, мягко говоря, превзошел своего учителя. "Ночь длинных ножей" 29 июня 1934 г., во время которой подручные германского диктатора застрелили без суда нескольких главарей СА, не идет ни в какое сравнение со сталинской вакханалией террора ни по масштабам, ни по жестокости, ни по последствиям для простого, беспартийного населения. Не говоря даже ни о чем другом: каковы бы ни были собственные преступления В. Блюхера, М. Тухачевского и др., уничтожение Сталиным накануне войны чуть ли не поголовно всего военного командования безусловно стоило жизни сотням тысяч (если не миллионам) советских солдат и жителей оккупированных немцами областей.

Как свидетельствуют все мемуаристы, Сталин во время войны позаимствовал у Гитлера и идею государственного антисемитизма – как постоянно действующего фактора внутренней государственной политики, а не только для партийных интриг, что безусловно имело место и ранее, в его борьбе сначала против Троцкого и троцкистов, затем – против Л. Каменева и Г. Зиновьева. Характерно, однако, что непосредственно отказ от крайнего национального нигилизма первых лет революции связан с борьбой Сталина не против "левых" (Троцкого, Зиновьева и др.), а против "правых" большевиков*. Психологически это понятно: прежде всего в отличие не только от Троцкого, Зиновьева и Каменева, но и в отличие от самого Сталина, как

* Подробно об этом хорошо написала Людмила Дымерская ("Страна и мир", №№ 11 и 12, 1985). См. также Рой Медведев, "Nikolai Bukharin: The Last Years", New York, 1980.

на грех, лидеры "правого уклона" (Н.И.Бухарин, А.И.Рыков, М.Томский, Н.Угланов и др.) все поголовно были чисто русскими. Более того, в отличие от всех предыдущих "оппозиций", только "правые", худо-бедно, пытались возражать против всего того, что безусловно явилось главным преступлением Сталина против русского народа: против отмены НЭПа, форсированной коллективизации, раскулачивания и индустриализации за счет крестьян. "Обрусевшему инородцу" Иосифу Джугашвили показалось тактически уместным взять на себя роль заступника за национальные чувства русского народа, придавшись к слову "обломовщина", которое однажды употребил Бухарин и которое было расхожим термином большевистской самокритики еще с Ленина. И слово "антипатриот" впервые было применено в советской пропаганде именно к Бухарину, ставшему в 1936 году первой жертвой борьбы с "антипатриотизмом".

Это уродливое словообразование обрушится на головы еще многих. И что интересно, ни русскому народу, ни русской культуре, ни русской науке ничего, кроме вреда, подобный "патриотизм" не принесет. Всякий раз, когда происходил какой-нибудь особенно омерзительный сталинский погром, почему-то обнаруживалось, что, например, Т.Д. Лысенко — это патриот (последователь истинно русского учения И.В. Мичурина), а, наоборот, Николай Вавилов — презренный (не по-нашему звучащий) "вейсманист-морганист". (Теперь, когда Н.И. Вавилов полностью реабилитирован, а шарлатан Лысенко разоблачен, из писаний литературного критика Вадима Кожинова мы узнаем, что истинно русским был как раз покойный Николай Иванович (Вавилов), а Лысенко — слепым орудием в руках "сионистов" И.Презента и Г.Деборина).

* * *

Общеизвестно, что первым шагом в означенном направлении было письмо Сталина, Жданова и Кирова с критикой "Истории" М.Н. Покровского — старого друга Бухарина и директора основанного Бухариным Института красной профессуры. Критика, скажем сразу, сама по себе была вполне обоснованной: ни один народ в мире не захотел бы изучать свою историю по такому учебнику. Но вот что интересно: письмо Сталина, Жданова и Кирова было написано в 1934 году, и в том же 1934 году, под непосредственным руководством Сталина, был при-

нят Генеральный план реконструкции Москвы. Это тот самый план, проведение которого в жизнь обернулось преступным разрушением исторической Москвы, и в котором идеологи общества "Память" видят главное проявление жидо-масонского заговора.

В 1936 году, с опозданием на два года, письмо Сталина, Жданова и Кирова по поводу учебника Покровского впервые появилось в открытой печати, после чего и разгорелась шумная кампания травли "русофоба" Бухарина. По странному совпадению, в том же году производится паспортизация советских граждан, в результате которой на сцену русской истории выдвигается новый фактор — обыкновенный расизм. Национальность подданных бывшей Российской империи отныне определяется не по вере, не по культуре и языку, а исключительно по крови. И, наконец, в январе 1936 г. "Правда" статьей "Сумбур вместо музыки" открывает кампанию по борьбе с "формализмом" в искусстве: против музыки Д.Шостаковича, пьес М.Булгакова, стихов Б.Пастернака...

Спустя 10-20 лет, в эпоху ждановщины, травлю тех же самых художников прямо свяжут с их якобы "антипатриотизмом" и "низкопоклонством перед Западом". И хотя, казалось бы, куда уж больше патриотизма, чем в стихах А.А. Ахматовой, Жданов противопоставит ее (и М.М. Зощенко) "космополитическому" творчеству — национально-культурное превосходство советского физкультурного парада. Равным образом, антипатриотическими оказываются музыка Шостаковича, Прокофьева, Мясковского и Хачатуряна, кинофильмы Эйзенштейна, живопись русского художественного авангарда. Зато в январе 1949 года знаменитой редакционной статьей, написанной по личному указанию И.В.Сталина, "Правда" ринется на защиту "истинно русских" драматургов А.Софронова, Н.Грибачева, А.Сурова и А.Первенцева от "группы театральных критиков-антипатриотов".

Сегодня, между прочим, и члены общества "Память", и критики, составляющие актив журналов "Наш современник", "Молодая гвардия" и "Москва" (а также поддерживающие их руководители Союзов писателей РСФСР и СССР и нынешний директор Института мировой литературы АН СССР Феликс Кузнецов), насмерть стоят, чтобы не допустить возвращения русскому народу творчества Булгакова и Набокова, Пастернака,

Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Бродского, картин Малевича, Кандинского и Шагала, кинофильмов Тарковского. Статья В.Бушина ("Молодая гвардия" № 2, 1988) по поводу публикации в "Новом мире" того самого романа, автор которого не без основания думал: "Я весь мир заставил плакать над красивой земли моей..." — была отмечена чуть ли не во всем мире. Все заметили, что Бушин заявил, что Пастернак — во-первых, плохой прозаик, во-вторых — и поэт-то так себе, а в-третьих — антипатриот (поскольку в свое время опубликовал "Доктора Живаго" за границей). Никто, кажется, не увидел, что в том же журнале этой статье непосредственно предшествовала другая — посвященная семидесятилетию поэта Василия Федорова. Таким образом низким оценкам Пастернака предшествовали слова: "Поэмы и стихи Василия Федорова как память века"!

"Наш современник" противопоставляет поэзии серебряного века стихи покойного поэта-самородка Александра Люкина. Представляя самородка читателям, главный редактор журнала, поэт С.Викулов выражает уверенность, что поэзия Люкина, в силу присущих ей патриотических свойств, "останется в русской литературе". Похоже, того же мнения был и сам Люкин, сообщающий читателю "Нашего современника" о себе следующее:

А я все Россию
Любил горячо
И девушкой был
Не целован еще.

(Смелость рифмовки заставляет думать, что покойный самородок слышал слово "еще" так, как, по анекдоту, его писала Екатерина II: "исчо").

В журнале "Советский воин" уже известный нам генерал Г.Ф.Самойлович (член общества "Память") возмущается публикаций стихов Бродского в "Новом мире" и выставкой Марка Шагала в Музее изобразительных искусств. По мнению генерала, вместо Шагала следовало бы везде выставлять художника Константина Васильева, "хотя он и не был членом Союза художников". Поскольку кто такой Шагал, все знают и без меня, поясню, кто такой Константин Васильев. Репродукция с картины Васильева украшает, в частности, книгу Емельянова "Десинизация". Называется картина "Илья-Муромец побеждает хри-

стианскую чуму". Сюжет и художественные достоинства соответствуют названию.

Лауреат премии журнала "Молодая гвардия", подающий надежды критик Владимир Карпец в прошлом году подарил миру книжку "Адмирал Шишков". В этой книжке, посвященной литературным битвам конца XVIII – начала XIX вв., адмирал-патриот (создатель Общества любителей российской словесности) доблестно противостоит масонам-карамзинистам из кружка "Зеленая лампа" (в который, помимо самого Н.М.Карамзина, между прочим, входил А.С.Пушкин и все его лицейские товарищи).

Друг и соратник Карпца писатель Юрий Сергеев обещает на страницах еженедельника "Книжное обозрение" в следующей части своего романа "Становой хребет" "художественно дать читателям надежду, что и до христианства у нас была высокая культура". Помимо "Велесовой книги", обращенные в прошлое надежды Сергеева, подкрепляются первой частью его романа, опубликованной в начале прошлого года в "Нашем современнике". Герой этой части, высококультурный русский язычник, умудрился углядеть "ветхозаветную похоть" на русских православных иконах.

Полуграмотное "новоязычество", похоже, все более входит в моду на Руси. Об этом свидетельствуют не только романы Ю.Сергеева, где даже самый доброжелательный читатель не сможет отыскать хотя бы одно грамотно составленное предложение. Пожалуй, самый яркий певец язычества – поэт Юрий Кузнецов. Кроме него, можно назвать поэта Игоря Кобзева, прозаика В.Личтутина и многих других сотрудников "Нашего современника" и "Молодой гвардии". О языческой Руси неизвестный восторженных похвал в статье кинокритика Ю. Тюрина в журнале "Наш современник". Религия эта основана на жгучей ненависти к православию. Согласно представлениям нынешних поклонников Сварога, крещение Руси в 988 г. было величайшим несчастьем, следствием заговора сионистов, сокрушившим этот оплот арийской цивилизации (языческую Русь) путем привития ей "реформированного иудаизма" (христианства). Поскольку научных сведений о том, что представляла собой вера древних славян, почти не сохранилось, современным язычникам приходится восполнять недостаток данных при по-

моши собственного воображения. Так, например, один из докторов этого учения гласит, что примерно в 3000 г. до новой эры арийцы-вестготы занесли в Индию учение мудрых русских женщин, называемых "бабы-йоги" (т.е. знакомая нам Баба-яга во множественном числе). Распространенность этого доктората тесно связана с повальным увлечением в конце 1970 – начале 80 гг. экстрасенсами, йогой и прочей псевдоиндийской языческой экзотикой (якобы русского происхождения).

Похоже, новая форма гонений на христианство в СССР принимает уже угрожающие размеры, коль скоро "Огонек" публикует на своих страницах поэму А.Межирова с послесловием критика С.Чупрынина, предупреждающих: "язычники", отрицающие тысячелетнюю русскую культуру, представляют собой реальную опасность для ее дальнейшего существования.

❖ ❖ ❖

Однако наиболее неприятные ассоциации со сталинскими обычаями вызывает привычка наших национал-коммунистов искать среди других советских граждан тайных масонов. Мы не так плохо думаем про советскую власть, чтобы поверить, что в брежневском СССР могла существовать мощная международная тайная организация, членов которой тут же не переловило и не пересажало бы КГБ. Тем более, зная из книжки Н.Берберовой, что ни одна масонская ложа не может существовать, если на ее собрание явилось менее семи человек. Боюсь, что в СССР нет вообще никаких масонов.

Тем не менее, многие наши соотечественники посвящают свой досуг поискам тайной масонской и сионистской символики везде и всюду. Источником для подозрений такого рода могут служить, например, телепередачи (каковые смотрятся на этот предмет часами), а любое двухзначное или трехзначное число оказывается на поверку той или иной символической цифрой. Масонский символ скрывается за виньеткой в виде розочки на обложке советского журнала или весьма нередкими в этой северной стране изображениями снежинок, в которых бдительное око умеет высмотреть замаскированную звезду Давида. Члены общества "Память" в прошлом году обнаружили скрытую сионистскую, масонскую и фашистскую символику во всех, за одним-единственным исключением, проектах памятника Победы на Поклонной горе. Единственным исключением,

по странному совпадению, оказался проект скульптора В.Клыкова, за который, помимо общества "Память", ратовали высокопоставленные друзья оного общества — писатели В.Распутин, В.Белов и др.

Подозрительность по части розочек и снежинок — отнюдь не анекдот. В опубликованных в апрельском номере "Знамени" мемуарах К.М.Симонова говорится, что уже сталинская антисемитская кампания носила на себе отчетливый след сведения личных счетов. В этот период Симонов, в качестве заместителя Фадеева по Союзу писателей и главного редактора сначала "Нового мира", а затем "Лит. газеты", часто присутствовал на заседаниях сталинского Политбюро и мог наблюдать эту кампанию со всех сторон. Одной из этих сторон был донос во все инстанции — о том, что сам Симонов (сын полковника царской армии и княжны Оболенской) являлся тайным евреем. О масонах же, заметим, в конце 1940-х — начале 50-х гг. речи еще не было!

В наши дни, особенно за пределами Москвы, охота за "иудо-масонами" и Сатаной приводит к весьма плачевным результатам. Практически для любого, кого охотники решают изгнать и извести. Наиболее широкую известность в этом смысле приобрела многолетняя борьба свердловского общества "Отечество" (одного из многих двойников общества "Память" в областных городах) против местного театра оперы и балета. Этот театр представляет собой столь радостное явление в жизни русской театральной провинции, что в кругу столичных театроведов применительно к нему возник устойчивый штамп: "свердловское чудо". В силу психологического закона, наиболее ярко проявившегося в постановлениях А.А.Жданова, именно против этого театра разгорелася ярость "отечественных" масс. Масонская, сионистская и прочая символика была обнаружена, например, в декорациях и костюмах "Сказки о царе Салтане", антирусская направленность — в либретто этой оперы Н.Римского-Корсакова. Характерно, что поначалу в своей борьбе с театром бдительное "Отечество" пользовалось полной поддержкой свердловского партийного и партийно-культурного начальства. Спас театр от разгрома только образовавшийся за это время Союз театральных деятелей.

На Западе часто говорят, что в России не было ни Ренессанса, ни Реформации. Зато не знала Россия и пресловутой

"охоты за ведьмами", в течение двухсот лет (с 1500-х по 1700-е гг.) опустошавшей Центральную и Северную Европу. Похоже, что эта охота происходит у нас в XX веке. Какие еще надобны доказательства, что русские — все-таки молодой народ?

* * *

Есть основания предполагать, что сталинисты в советском руководстве целенаправленно разжигают антисемитизм, чтобы использовать его как идеологию, способную объединить всех противников реформ и либерализации. Самый яркий пример — коллективный труд ленинградских сталинистов, опубликованный 13 марта с.г. в "Советской России" под видом "письма" в редакцию преподавательницы химии Ленинградского технологического института Нины Андреевой. "Письмо" Андреевой заняло целую полосу мелкого газетного шрифта, изобилующего цитатами из иноязычных источников, вроде книг Б.Суварина и И.Дойчера, которые в советских библиотеках преподавателям химии не выдают. Эта публикация приобрела особую известность после того, как 5 апреля "Правда" обрушилась на нее с передовой, беспрецедентной как по длине (тоже на целую полосу), так, учитывая нынешние либеральные времена, и по содержанию ("Правда" расценила письмо как прямое выступление сталинистов против перестройки).

Вкратце "письмо в редакцию" за подписью Н.Андреевой сводится к доносу на советских "неолибералов", которые, по заданию своих единомышленников за границей, дискредитируют И.В.Сталина. Поименно взгляды этих самых либералов выражают следующие лица: драматург М.Шатров, автор романа "Дети Арбата" А.Рыбаков, "духовные наследники Дана и Мартова", а также "духовные последователи Троцкого или Ягоды" *. Кроме того, еще 18 оппонентов "Нины Андреевой" присутствуют в ее "письме" анонимно, в виде цитат из их выступлений (по типу: они, "неолибералы", утверждают, что...). Мне удалось атрибутировать высказывания восьмерых из этих анонимных противников. Это историк Юрий Афанасьев, академик

* В Западной Европе можно встретить настоящих последователей Троцкого, называемых по этому случаю "троцкистами". Допускаю, что в известном ведомстве в СССР имеются и "духовные последователи Ягоды", которые наверняка "ягдинцами" себя не называют.

Д.С.Лихачев, социолог Игорь Бестужев-Лада, писатель Андрей Битов, актер Михаил Ульянов, поэт Булат Окуджава, грузинский режиссер Роберт Струра и дипломат Валентин Бережков.

Главный довод в пользу Сталина – то, что несмотря на террор, его деяния "вызывают гордость за нашу страну". Еще один предмет национальной гордости великороссов – то, "что именно русский пролетариат, который троцкисты третировали как "отсталый и некультурный", совершил, по словам Ленина, "три русские революции" ". Вслед за ссылкой на Ленина идет ссылка на К.Маркса и Ф.Энгельса, которые "называли целые нации "контрреволюционными" ". "Подчеркиваю, – настаивают авторы "Письма Андреевой", – не классы, не сословия, а именно нации". К числу "контрреволюционных" здесь же отнесены "те национальности, к которым принадлежали сами" основоположники истинно научного мировоззрения Маркс и Энгельс. Догадайтесь – к каким национальностям!

Очень важно, что материал в "Советской России" написан языком советских крючковоров-догматиков, без малейшего следа паранойи, явственно присутствующей в стиле публицистов типа М.Лобанова, В.Кожинова, М.Антонова, С.Куняева или В.Карпецца. Это не психоз, а трезвый расчет – попытка использовать массовый психоз в собственных политических целях.

♦ ♦ ♦

Известно, что "Память" и идеи, которые принято с нею отождествлять, пользуется поддержкой среди некоторой части партийного начальства, в армии, МВД и КГБ. Причем на достаточно высоком уровне. В Белоруссии, например, эти идеи вылились в форму борьбы доктора "антисионизма" В.Я.Бегуна и его последователей против открытия в Витебске музея М. Шагала. Идею открытия такого музея впервые в советской печати выдвинул Андрей Вознесенский, которого поддержали практически все известные за пределами республики белорусские писатели: Василь Быков, Алеся Адамович, Светлана Алексиевич, Вадим Козько. Первый секретарь ЦК КПБ Е.Е.Соколов встал на сторону Бегуна (автора советского варианта "Майн Кампф"), что и обосновал в своем доносе на Вознесенского в ЦК КПСС.

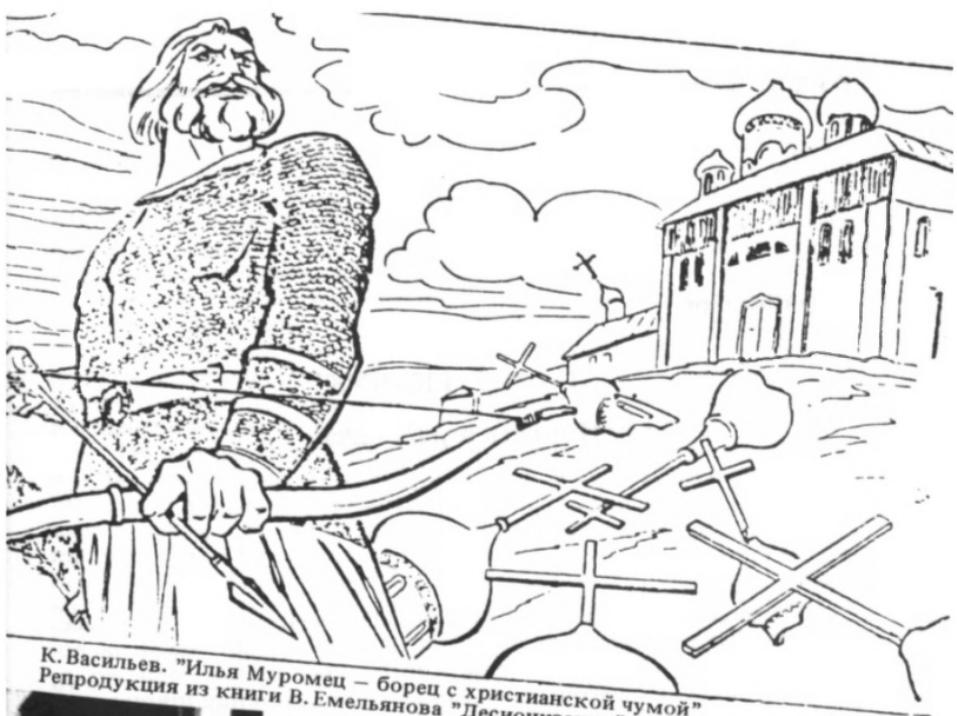
В статье, опубликованной в августе в журнале "Шпигель", Валерий Сойфер сообщает, что "Память" пользуется поддержкой Егора Лигачева – второго, после М.С.Горбачева, человека

в Политбюро. Во всяком случае, Лигачев поддерживает именно и только тех писателей, издателей и партийных функционеров, которые, в свою очередь, заступаются за "Память".

В числе таких заступников можно встретить как деятелей с весьма подмоченной репутацией (типа очень плохого писателя Петра Проскурина или зав. отдела культуры ЦК КПСС Евгения Зайцева), так и людей умных и талантливых — таких как, например, Валентин Распутин, ученые Е. Пашкин, Ф. Шипунов, М.Я. Лемешев. Последнее обстоятельство внушает наиболее серьезные опасения: ни одно общественное движение не может рассчитывать на успех, если в нем принимают участие одни идиоты и бездарности.

И среди самих членов "Памяти", и среди тех, кто активно ее поддерживает, начиная с того же Распутина, — достаточно людей, которые искренне любят свою страну и желают ей добра. Тем печальнее, ибо идея, которая овладела умами этих людей, уже принесла России и русской культуре немало зла в прошлом и сулит им неисчислимые беды в будущем.





К. Васильев. "Илья Муромец – борец с христианской чумой"
Репродукция из книги В. Емельянова "Десионизация".



Д. Васильев в штаб-квартире "Памяти".

Картинка на обложке книги В. Емельянова на лбу – звезда Давида.



Исаак Шапиро

ТОДОР ТКАЧУК
Повесть в рассказах

РЫБА

Ночные сны еще не кончились. В темени и забытье лежали село. Люди хрюпали дышали на подушках, постанывали во сне и этим проявляли, что еще живы, — все прочее замерло, в предвестии утра исчезло даже привычное мышиное шуршание. Но вот соседский петух неуверенно прочистил горло, прислушался, и, недовольный тишиной, во весь голос выдал свое мнение о хохластых сожительницах, в том смысле, что лежебоки и растрепы, ничего толком не умеют, кроме как на яйцах сидеть... И вслед за его долгим криком проснулись другие звуки. Где-то рядом упала щеколда, ей откликнулась осиплая дверь. Перебирая ногами, поднялась корова. Хлопнула крышка колодца, и застучала, разматываясь, цепь с бадьей. Кто-то засаживая грудь от табака.

Тодор Ткачук пробудился усталый, за ночь силы не возвращались, и только несколько спокойных минут перед подъемом или короткий сон в полдень он считал отдыхом. Ткачук сел и свесил ноги с лежанки, он любил покряхтеть, это стало привычкой в работе, но сейчас кряхтеть для своего удовольствия, на случай, если других удовольствий за день не перепадет. В потемках забормотал молитву. К воскресной молитве он относился особо, вспоминал в ней прошедшую неделю, само воскресенье и просил за будущую. Калялся скороговоркой, не придавая значения словам, так как, по его понятию, настоящих прегрешений не было, зато в просьбах был подробен и молил истово. После "амина" нашарил спички и засветил лампу.

Как обычно, Ткачук спал одетый, так что на сборы много времени не требовалось. В трайстру — шерстяную торбу — сложил пару помидор, ковалок мамалыги, с вечера завернутый в

тряпичу, чтоб не засохла, выудил из кадки соленый огурец. Затем положил жестянную коробку с мотылями, не забыл проверить, есть ли на подкладке жакета запасные крючки, дохнул в стекло лампы и тройным оборотом ключа запер дверь. В сенях взял удочку и опять же наружную дверь закрыл амбарным замком. Своровать у него нечего, замок он вешал для порядка, чтоб не было соблазна всяким байструкам.

Чернота неба уже начала редеть, будто таяла от близкого восхода. Над рекой стоял молочный туман, по цвету его и неподвижности наступающий день предполагался быть безветренный и теплый. Ткачук шел и думал, что в такой тихий день лучше брать не удочку, а нападку, хоть тяжелая она, зато больше шансов на удачу, может не зря ноги убьешь.

Но это были совсем лишние мысли, без пользы на сегодня. Никакая погода не уговорит его на такую гиблую затею. Надо быть последним дурнем, вовсе с глазду тронуться, чтоб нападку брать, когда вокруг надзор рыскает. Правда, есть затоны, в кустах захоронишься, рядом пройдут — не учуют. Но теперь надзор тоже насобачился, ждет, когда воротишься: нападку в карман не спрятать. Говорят, Юрко Дорошкевич снова погорел: сеть забрали и пятьсот рублей штрафу...

Ткачук тряхнул головой, как лошадь, что отмахивается от слепня, он даже убыстрял ходьбу — скорее отойти от места, где не к добру припомнился штраф и этот негодящий трутень — Дорошкевич. Главное, обидно — живет Юрко без турбот, посвистывая живет. Деньги легко считает, дальше магазинного порога они у него не держатся. Любого встречного угощает, напоит до усрочки, пока ноги держат. И сам, злыдень, пьет не по людски: всегда и без меры. Даже удивительно, как до сих пор не утоп. Сколько сотенных к надзору перешло, по судам таскали, а ему начхать на указы. Говорят: пес лает, когда хозяина знает, а рыбьба оттого и молчит, чтоничейная, — кто подсек, тот и пан. Юрку на роду везенье: с реки не приходит пустой. Захочет — с двумя рыбами в руках вынырнет, а третья — во рту. Он такой! А Ткачук без улова, задаром берег меряет. Будто недобрый глаз следит за ним, или рыбу кто заворожил, не ловится ни в вершу, ни на живца. Что он приносил в последнее время и рыбой не назовешь — мелюзга, не то чтоб продать — жарить нечего, — только на уху годится. В прежние дни Ткачук выкидывал обратно в речку эту плотву, чтоб росла и жирела, но сейчас собирал ее в трайстру и был доволен, если набиралось на казанок тощей ушицы.

В сельсовете, где Ткачук служит дежурным, второй месяц зарплаты не видно, обещать — обещают, но дурят. У председательши Марии, чтоб не сердить, он уже не спрашивает — когда? — живет за так. Хоть зарплата кущая, но нет ее — и очень даже паршиво. Это одни покойники без денег живут, им гроши и до заднего дупла не нужны. А если на земле дышишь — гони монету. Правда, гривенник на что годится — пуп прикрыть,

другой цены нет, теперь за всякий пустяк давай рубли. Слава богу, на огороде помидоры свои, цибуля уже стубровата, щавель тоже подрос, не надо соседям кланяться. Но когда вытряхивавал из глечика последнюю жмень желтоватой пыльцы, хочешь — не хочешь, или одолжать кукурузянки! Без мамалыги ноги не держат, а при его службе здоровые топалки требуются. Нет хужего стыда, как по хатам просить, хватит того, что продавщице в сельмаге задолжал за керосин и резиновые сапоги. Еще крышу стайни латать, рулон толи нужен позарез, дождь ждать не будет, когда зарплату привезут, — значит опять в долг записывать...

Но горше прочего грызла досада, что вторую неделю не было клева. Ткачук проведал самые заветные места, где прежде попадались рыбы гнезда, лишь успевай тащить, а сейчас, как в насмешку, вертелись бесстесные мальки. Он уходил подальше от села, менял наживу для перемены счастья, поплевывая на крючок, приговаривал особые нашепты, но рыба и ухом не ведет. У переката, на мелководье ставил перемет, хоть мало в него верил, тот хорош внерест, но вопреки опыту ждал, вдруг рыбка сослепу напорется или заблуда какая по пьянке, рыбам назюзюкаться не долго, им из спиртзавода перепадает, пускай разбавленный, зато алкоголь.

Для верши достал Ткачук на маслобойне полкруга жмыха, может, польстятся на масляный дух. С рассвета, если вблизи гребли не было людей, вынимал вершу, но в ней копошились раки, стучали клешнями по стенкам, в злости поджимали сборчатые хвосты. От такой верши самая найхрабрая рыба сбежит за километр. Так, цепче клеща на собаке, держалось за Ткачука неудача. На все его старанья судьба подносила ему солидный шишак...

Пройдя травянистую низину, Ткачук поднялся к полю, теперь он шел не берегом, а напрямки, тяжелым, мерным шагом, и мокрые от росы сапоги оставляли на пыльной тропке светлые следы. Солнце грело в спину. Пшеница почти дозрела и отяжелелым колосом склонялась над тропой.

Ткачук вышел к реке. Стайки чирков испуганно захлопали крыльями и, теряя тяжелые капли, низко перелетели к противоположному берегу. Ткачук насадил мотыля, для начала закинул вблизи и выжидательно уставился на воду. После тумана река открылась во всю ширь, казалась неподвижной, лишь у кромки медленно скользила желто-бурая пена, и по ней было заметно движение.

Чирки плескались, отвлекали внимание от поплавков. Ткачук сердился. Он всегда недолюбливал противоположный берег — оттуда по ночам Юрко Дорошкевич колхозную картошку таскает. У него лодка — вот и герой. Нагрузит в безлунье пару мешков и сплавит до последней барабули заезжим шоферам, а у самого дитяти куском побираются, по чужим огородам шастают. Это дело?..

Ткачук запальчиво сплюнул и вслух пожелал себе погу-

лять на юрковых поминках, все равно от пьянюги ребяткам пользы никакой, одни слезы, а подохнет он — власть прибережет сирот. Пятерых наклепал, а они, безответные, у такого родителя зимой из дома не выходят — не в чем. Юрковы заботы их не греют. Ладно бы с пользой воровал, святой промысел при теперешних порядках, ведь если по честному, не хапая, как можно пятерых поднять. Только он ночной риск на горилку переводит, в дурном пару до остатного гроша качается. Круглый год у него Николин день!

Вот Степан Покатило в бригадиры выбился, брычкой правит, забыл пеши ходить, а в брычке под брезентом всякая по живи захована, тоже день и ночь промышляет, но в другом плане — все во двор, в семью. Ткачуку видно: от бригадирства Степан моцно зажил, двух телок держит, веранду пристроил, весной хату цинком покрыл — такого зауважаешь!

А на Юрка лопату земли жалко.

С укором косится Ткачук на правую сторону реки — считает, что лучшая рыба там притаилась, больше негде, поглядывают на него из своего кута и учат мальков, мол, смотрите, пучеглазые, это Ткачук идет, для рыбьего коллектива опасный человек, держитесь подальше, не то в трайстре у него запляшете, он такой...

И еще для соседней земли было у Ткачука несколько матерных слов по причине, смешно сказать, но истинная правда, по причине прошлогоднего снега. Другие, может, забыли, а у Ткачука память злая на безглазье. Снег тогда выпал не ко времени. Присыпал буряк. В правлении тянули резину, должно быть, процент сахара выгадывали, а тут зима по лбу — трах! Главная беда — приморозок не держит. Раскисла природа, грязюка бабам по колено, вся уборка забуксовала, гробят машины, а ни с места. Дали бы людям — на горбу вынесли бы, но нет у них привычки людям давать. Решили в земле оставить. Лошадям скормить, чтобы скандал прикрыть. Ткачук видел, как рослый конь разгребал копытом припухлый снег и сжевывал ботву до самого клубня...

А других обид Ткачук не держал против той стороны. Пусть стоит, без берегов тоже нельзя, реке неизвестно, куда плыть, разольется поперек, потоп вселенский пойдет по всему району и безобразие для людей — лучше нехай стоит.

Ткачук пересек песчаную косу и вошел в тень тонкостволового лозняка, чтоб в холодке поснедать.

Обрывистый берег был изрыт норами ящериц и стрижей. Верба по старости свалилась в реку, но ствол, уже трухлявый, пустотелый, держится корнями за землю и снова родит: из морщинистой коры выбилась свежая поросьль. Потопленные черные ветви шевелились под напором медленного течения.

В этом месте Ткачук никогда не закидывал: чего доброго, крючок зацепится за корягу, лезть в воду — сущее наказание, только боль в костях бередить, а ежели там глубина, то

и речи быть не может, конечно, жалко крючок, но жить пока не надоело. У Ткачука не только ревматизм сидит, с малолетства в нем страх к глубокой воде, шестой десяток с рекой связан, а плывает, как грузило.

Отойдя от омута, Ткачук вернулся на косу, воткнул в гравий уду и обложил камнями для упора. Сам примостился рядом, захрумкал соленым огурцом, отщипывая от мамалыги малые кусочки. Помидоры он оставил напоследок, чтоб не хотелось пить.

Река несла на себе с верховья всякую дребедень: щепу, гушму соломы, птичье перо — все проплыло мимо поплавка, а он, ленивец, лежит на боку, подремывает.

Ткачук собрал с тряпицы крошки, забросил в рот и мельком перекрестился. Пора двигаться, нечего зря караулить, решил он. Пустотная яма. Идти надо к протоке, где камыши, там, бывало, отборная рыба пасется. Случалось, дюжину линей набирал, по триста грамм каждая, как по мерке. Бывало... а сейчас — поплавок на солнце загорает, рыб смешит, чурка полосатая... Кружит рыба возле поплавка, лыбится в полный рот, у них жизнь легкая: жратва и выпивка всегда под рукой, лишь принююхайся, где урвать. Долгов нету. И сапоги резиновые им без надобности, ноги не мокнут. Главное — на власть не надо горбатить. При такой малине — только песни петь, жаль, голос у рыбы слабый...

Поплавок качнулся, встал торчком. Не сводя с него взгляда, Ткачук осторожно высвободил удочку из гравия и поднялся на ноги. "Бери, милая, бери... ну...", — беззвучно молил он рыбу. Поплавок медлил, ровно выжидал, — чего ждать-то, чего?! — глотни, стерва, поглубже глотни! Открой пыск!..

Есть! — над поплавком сомкнулась вода. Пора подсечь... Но в этот миг удочка рванулась из рук, Ткачук едва успел схватить ее за конец. Леска напряглась, тянула его к реке, он упирался каблуками в рыхлый гравий, тормозил, но чужая подводная сила одолевала, и он, спотыкаясь, приблизился на несколько шагов. Удилище дрожало, прогнулось дугой, готовое вот-вот треснуть. Ткачук вскрипал от усилий, испуганно смотрел в точку, где тонула леска. Там явно была не рыба, нет таких, чтобы мужика перетягивала. И на утоплого не похоже, какой мертвяк не хочет из воды вылезти? — не, должно быть, нечистый мутит, смотри, как кружляет, мать его...

Мотало в глубине, водило из стороны в сторону что-то невидимое, колотилось припадочно. Леска вонзилась в спину реки, и там, где резала ее, закипал белый пузырчатый бурун.

Но никакая боязнь не заставила бы сейчас Ткачука разжать ладони. В подполье ума жила надежда, что вдруг это не чертюка, не упырь какой, а что-то не опасное, и если насадилось оно на крюк, можно поджарить...

Внезапно леска ослабла. Руки Ткачука торопливо перебрались к верху удилища, кто знает, выдержит ли оно рывок

покрепче, это ж не бамбук, это — хрясть! — а гата, конец! Ткачук полой жакета обернул кисть правой руки и намотал на нее несколько витков лески. Теперь древко стало лишне, зато за леску он был спокоен, прижал кулаки к груди и начал тихонько, исподволь отступать от берега. Сначала леска подалась, потом застопорила, дернулась, но Ткачук уже был готов к тому. Не мешкая, он отвернулся от реки, перекинул через плечо леску и, наклонив тело вперед, потянул за собой улов, пусть там на острие хоть ведьмак упирается, Ткачуку без разницы. Сапоги вязли в песке, загребали гальку. Ткачук кряхтел от натуги, взмок, но продвигался дальше от берега, а вслед за ним двигалось то неизвестное, что настырно билось в воде. Когда стало еще тяжелее, понял, что волочит уже по земле, но не смел глянуть, что там за чудище, только круче налег плечом на леску.

Наконец, оглянулся, — тотчас бросил уду и на согнутых ногах кинулся бегом к реке, на ходу подобрав увесистый булыжник.

Вот оно! Мать честная, эка зверюга! Лежит, увалень, хвостом землю трамбуует. Сом, сомище! Морда бычья, каждый ус в полметра! Невидаль! В жизни такое... это же надо!..

Ткачук с размаху ударили камнем по широкой голове, промеж круглых глаз, другой раз добавил для надежности, но не в полную мощь, чтоб кость не проломить. Сом затих, перестал бросаться, только вывороченные губы продолжал выпячивать, трогал воздух.

Ткачук заморенно свалился на песок, рукавом обтер лицо. Глянул по сторонам, потом — на рыбью... Господи, ведь вправду поймал, вот оно чудо, едриТЬ твою... Столько лет высматривал, косяки видел, но такого не ждал, слыхом не слышал, что такое страхолюдье водится. Кто поверит, а? Это же надо...

У Ткачука от нечаянной радости пекло в глазах. Тревожно подумал: не привиделось ли? Может, заморока напала? Но успокоился, когда почувствовал под пальцами тугую кожу, чуть шершавую, в холодной слизи. На рыбьем боку светились узоры червонного золота. Вздрагивал зубчатый плавник. Под ним, как полый мешок, распласталось налитое брюхо, должно быть, с икрой... Услышал Боже, за нужду, за все обиды отвалил удачу... Верных полтора пуда, а то больше...

Ткачук сидел сомлелый от переживаний. В лозняке копошились птахи, шуршали пальм листом, судили птичьи дела. От их пересвиста тишина вокруг становилась певучей, навевала дрему. Солнце уже набрало высоту, и нагретый воздух по-воскресному вольготно висел над землей. По реке струились серебряные полосы, слепили светом.

Волнение отняло силу, казалось, жилы опустели, склынула кровь к ногам, оттого и лежат они чугунными болванками, не хотят вставать. Ленились ноги, пока Ткачук не застра-

щал себя солнцем, — прихватит оно к полдню, ужарит, а рыбе удовольствия мало, жара ей заказана. И в траиству ее не вместишь, а до села, как не выгадывай, километра четыре вилять надо. Время не ждет...

Ткачук вставил обломок палки в рыбью пасть, как распорку, и глубоко внутри зева наощупь освободил крючок. Удочку спрятал в прибрежных кустах. Сам подвязался кое-как бечевкой, а брючный ремень продел сквозь жабры и застегнул над головой сома, ремень армейский, выдержит вес. Присев, Ткачук взвалил рыбу на спину. Ого! От такого тягара пуп развязается, запросто...

...иди знай, сколько годов она здесь мяса наращивала, до ейного роста дойти — года требуются не малые, сомы — народ живучий. И как Юрко ее не надыбал, сама в руки просилась, а он мимо закидывал... рыбак называется, на мальвок он герой, а тут крокодил целый квартирует — его профукал. Теперь все село свидетель, кто есть рыбак...

Нести было неудобно, ремень врезался в плечо, а рыбий хвост звучно хлестал по голенищам. Но радость тешила душу, как даровая чарка, а впереди предполагалось столько приятных Ткачуку хлопот, что ноги сами шагали ходко, неутомимо, будто омолодились. Так торопился — вроде в сельсовет привезли заждалую получку. Теперь Ткачук те деньги не распустит, нужда научила, — заначит в узел на черный день, чтоб впредь по людям не колядовать. За долги рыбой рассчитается, всем отдаст, никого не обделил, абы не считали жебраком. Председательша Марии подарует пару кило, иначе — скживет...

Изредка Ткачук присаживался передохнуть. Ломило спину, руки-ноги просили покоя, но, недовольный голым небом, он криво поглядывал на солнце, а когда дыхание становилось ровным, снова, кряхтя, вскидывал на себя улов, продолжал путь. Для большей надежности прикрыл соминую голову трайстрой, смоченной в ручье, — не помешает, хоть рыба, можно сказать, снулая, и мозги сдвинуты, но мокрота ей, конечно, первое удовольствие. Ох, рыбница, самочка пригожая, одной икры надерется ведро, должно быть, еще не терлась, не успела скинуть, калью готовить можно, солененьскую...

Пот стекал из-под кепки и собирался в бровях, приходилось часто встряхивать головой, чтоб не застило зренье, не дай боже остаться с таким грузом — расплющит в стельку.

Заодно хитрил Ткачук: на ходу о постороннем думал, чтоб отвлечься от тяжести. Чудно, как все это время никто о рыбе не знал. Может пришлая, паводком занесло, вот и осела в яме. Тут чирки под боком клочат, а сомы лакомливые до уток, прорвы. Теперь Ткачуку припомнилось: однажды вблизи омута заметил, что тень прошла под водой, но никаких особых мыслей она тогда не вызвала, и облако могло тень окунуть или померещилось, мало ли бывает. Еще случилось — услышал шумный всплеск, — решил, что выдру шуганул, водятся они на

затонах. Но что сомина матерая балует — не гадал. Сейчас по всем селам слава пойдет! Жизнь другим колером обернется. Да много ли ему надо? — кабы каждый день хлеба вдосыть да дрова на зиму — свечу рублевую поставить не жалко.

Среди прочего вспомнил Ткачук, что поймал когда-то крупного сома, килограмм на десять. До войны еще было. Арону в лавку отнес. У них там старая Браха за старшину числилась. Ткачука по-своему называла: Тодорико. Прищурилась на рыбу, губу поджалла:

— Нет, Тодорико, не возьму. Звеняй за слово. Другому кому продай.

Не понял Ткачук отчего старая такого сома не берет, у них, у жидов, фиш — главная жратва, без рыбы праздник не считается, а тут вдруг отказ. Стал допытываться, что за причина, а Браха увиливает:

— Вера наша не позволяет, — говорит.

Ткачук знал, что есть привереды, сома не уважают, мол, жирный да не смачный, но чтоб вера запрещала, об этом не слышал. Цикаво получается: всякую невзрачную рыбешку обгладывают до хребта, а приличного сома — вдруг нельзя, будто не божья тварь, — обидно даже.

Только Браха на уговоры не поддалась, и хоть рыбу не взяла, но угостила, как обычно, стопкой горилки. А в отношении ихней веры темнить стала: оттого и запрет, говорит, что божья тварь, чешуя у сома нет, кожей покрыт, значит, к людине ближе, чем прочая рыба, как же можно его есть?..

— Бабы забобоны, — решил Ткачук и выгодно продал в соседнем дворе, Дорошкевичам. Юрко тогда малым был, еще в люльке писал.

Ткачуку приходит в память старая Браха, Арон с его приватной лавкой, где пахло дегтем, а с балки свисали плетеные вожжи и широкие шлеи, жированые медными бляхами, и даже у кого не было своих лошадей, охотно рассматривали те шлеи, принюхивались к ним. Там же в углу прилавка стоял бочонок измаильской сельди, прикрытый вощеной бумагой, и никто не стибрит, не позарится. Любой товар Арон давал в бессрочный долг — вернешь, когда будет! Теперь через годы Ткачук вспоминал то время с приятностью. Молодым был, здоровым. Тодорико — звали... Кому они мешали? Зла людям не делали. Правда, другому Богу молились, по неразумию, но чтоб обжулить — не было. За что же их? Безвинных стратили... От их погибели только старший Дорошкевич поживился, лавку прикарманил, всю войну пользовался, пока Советы не вернулись. Думал — разбогатеет, а ему чужой достаток боком вышел: с той поры хворобы зачастили да всякие несчастья, как из дырявого кошеля, четыре сына имел, один в живых остался, да и тот — Юрко...

Кончилось мелколесье. Ближняя поляна была распахана свежими кротовыми холмиками. Шишковатые вербы стояли

поодаль друг от друга, будто не признавались в родстве. Ткачук вышел из затеня и двинулся полем. Идти межой стало легче, стежка не вилась вверх-вниз и пыльные сапоги ступали надежно. Зато от солнца нет защиты, облило землю жаром, колосья не шевельнутся, каждый стебелек затвердел на месте. Теперь Ткачук не решался отдыхать, не был уверен, что сможет подняться. Время от времени подкидывал, как мог, рыбку, чтобы тяжесть пришлась ближе к плечу, и снова передвигал вперед ноги, бездумно, как оглушенный.

Иногда он поднимал голову и оглядывал пожелтелое поле, всматривался вдали, авось, кто явится подсобить, тропа-то ходовая. Но вокруг ни души. Некого гукнуть. Лишь марево мельтешало в воздухе да из неба дзенькал суматошный жаворонок. Пусто окрест. Хоть шея лопни. Одна надея на Бога. Помоги, милосерный, дай донести, уже недолго... тополя показались, вон маецок видно...

Со всех сторон к дому Ткачука стекался люд. Рыбу положили на траву у ворот, Ткачук не позволил занести во двор — огород затопчут. Сам сидел на лавке, распаренный, без кепки, курил чужие сигареты и в который раз пересказывал о чуде. Вокруг охали да хвалили.

— Вай-ле, ну и пугало!
— Губы вывалил, черт! Девкам взасос...
— Тыфу, дурыло!
— В газету надо... Тодор-то рыбак... всем рыбакам дулю под нюх!
— ...продаст... двадцать кило чистого веса.
— Даешь! Он, что, членом приманивал?
—

Протолкался, вышел в круг Юрко, сонливый и трезвый. Передние притихли, навострились, что он скажет. Ткачук за дымком сигареты прятал торжество.

Юрко равнодушно окинул рыбу. Прокашлялся.

— Знакомая мне. У поваленной вербы ошивалась. Там взял?

— Там.

Юрко заглянул под жабры и выпрямился.

— Так я и думал. Жаль, конечно.

— Ты о чем?

— Эря надрывался, вуйко Тодор... Травленная она.

— Ты что, а... брось шутковать, нашел где...

— Какие шутки? — полхера в желудке! Травленая и есть!

Меня не проведешь!

— Ты... злыдень... промой глаза! Она у меня из рук рвалась, еле держал! Жабры, жабры — глянь — розовые! Зачем сбиваешь с панталыку, а? Геть, паскудняк! Чтоб тебя земля не приняла!

— Не суетитесь под клиентом, вуйко Тодор! Мне — что?!

Я — за народ. От такой рыбы белой пеной харкать будут. Это же гроб с музыкой!

— Брехун! Живей тебя была! Как скаженная юрила! Я ее каменюкой по голове, чтоб замолчала, а он говорит... Знаток негодящий! Нализался, трепло! Зависть в нем лютует...

— Не убивайся, Тодор! Бывает...

— Что бывает? Что? Чистая она! Чистая! Клянусь!.. да что вы... кого служаете...

Ткачук видел: у многих вокруг потухли глаза. Мужиков потянуло на курево. А бабы выпростали руки из-под грудей и стали окликать своих босоногих мальцов.

БРЕВНО

Должно быть, в Карпатах обрушились ливни, а здесь, в низовье, небо сплошь захмарило, ни щелочки просвета, но не пролилось — от редких капель только листья заблестели чистотой да пыль прибило.

Зато река взburghла, раскинулась самовольно по впадинам и отмелям, лощины скрылись под паводком, и гибкие концы чернотала в быстром течении виляли по сторонам пущистым собачьим хвостом. Высокая вода подкралась до крайней борозды огородов, кое-где тронула нижний ряд плетня, но на большее сил не хватило, стала спадать. Река постепенно возвращалась в прежнее русло, оставляя вдоль берега мусор и полосы бурой пены.

В мутном потоке клев был отменный. За малое время Ткачук добыл три приличные красноперки, парочку окуней, но не терпелось ему на месте, вскидывал удочку и снова спешил подальше от села, других опередить. Оно понятно: Ткачук с реки дровами кормится. И другие-всякие не хуже его по этой части соображают. Оттого торопиться надо, подобрать любую деревяшку, что река забраковала: обломок доски или бочковую клепу, покрытую смолой, корневище, что растопырило ноги по-babы, разбитый ящик с зубьями ржавых гвоздей — все это сложить в кучу, тогда видно, что кто-то для себя старался, и не тронут.

Но ворох этого хламья — не главные дрова. Что наверху лежит — каждому доступно, вот захованное углядеть — наметанный глаз нужен. Иной без внимания по бережку шляндрает, одно ротозейство да рыба на уме. А Ткачуку нельзя проморгать — как минер примечает, где над речной рябью гулька выросла или струи ломают плавность, разбегаются углом и цвет в том месте чернотой отдает. Значит ссыпода под водой и гравием вековой кряж таится, не чета сегодняшним, полтора метра в комеле, должно быть, сотни лет в глубине лежит, еще со времен, когда здесь леса немерянные шумели и дерево само хрястало от непомерной тяжести.

Но угадать, где этот топляк прячется — треть работы, самая тягота — выковырять его из гнезда, когда он намертво в грунт заклиниен. У любого трактора жилы лопнут. Тут братьев Лошковых звать надо, лучше их никто не справится, и инструмент подходящий имеют, не зря на железке служат. Ставят они козлы над краем, подъемник приспособят с двойной передачей, и пошла копошня на целую неделю. По сантиметру земля отпускает ствол, нехотя, со скрипом, будто у нее последнее берут. Но Лошковым не привыкать, белобрысые и волохатые, пяхтят вокруг дерева, как бобры, ныряют под него, бьют скобы, лебедку вертят, и с каждым днем ствол медленно выползает из норы и водоворот шибче змеится по течению.

Весь этот час Ткачук бывал не при деле. Чтоб не мозолить братьям, не появлялся на берегу, пока проку от него ни на фунт. Затем наступал момент, когда ствол начинал податливо раскачиваться, — дышать, — говорили Лошковы, — то было приметой, что держится он, как молочный зуб, на одной нитке, и братья назавтра звали Ткачука.

Трецит лебедка, наматывает на барабан колючие троса. Со дна поднялось мутное облако ила, и вот уже дерево, в сизой грязи, с камешками, вросшими в кору, вольно гайдается на волнах.

К стволу вязали веревку, в нее впрягался Ткачук. Шел он по краю берега, добро, когда без препятствий, а чаще — пер напролом сквозь заросли терна, шипы корябали, но он тягал по воде освобожденную бревнину. Один из братьев упирался шестом, направлял бревно, чтоб не жалось к земле. Второй Лошков, тот вовсе ничего путного не делал, держался за комель, на случай подтолкнуть, если застопорит на перекате.

Так что, пока волокли к селу, Ткачуку доставалась найтажкая забота, считал он, но не прекословил, тянул веревку, только покряхтывал да хватался за деревца, чтоб не свалиться ненароком с сыпучей грани. Знал, что Лошковы еще наробятся, когда прикалят, а ему снова не будет занятия.

Наконец бревно на толоке. Поплевав на ладони, братья в растяжку шаркали пилой. Мореная древесина поверху крохкая, и скоро из-под разведенных зубьев на земле вырастали два холмика мохнатой трухи. Со временем пила замедляет ход, звук становится жестче, казалось, что ствол пропитан раствором бетона. Колышутся темные от пота рубахи. Блестит узкое тело пилы, цвенькает обиженно, жалуется вслух, что ее, как сучку, каждый к себе тягает. А у бревна из концов глубокого разреза, будто пульсируя, брызжут розовые струи опилок.

Отпиленную колоду Лошковы расклинивали на куски и, сложив срубом, оставляли сохнуть на солнце. Потом делили на три равные части, и если судьба не скрутилась, одаривала щедро, то дров хватало до весны. Правда, раз от разу приходилось стянуты с посадки оберемок хвороста, но это не в счет. Главное, угли покупать не надо. Черное золото, — говорят, и берут как

за золото. А откуда у Ткачука деньги? Уголь жар держит, слов нет, но ведь сколько ни топи, к утру хата опять выстужена. Да и что есть уголь? — немота, не больше. То ли дело — дрова! С ними и поговорить можно. Скажешь: горим, братчики!! — а они фырчат в ответ, разгорячаясь, по-своему болобочат, о чем — не понять, но все равно славно! Нехай на дворе зима лютует — не страшно, если в трубе дрова гудят.

Ткачук поднялся на высокий берег. Отступая, вода покрыла низины склизкой грязью, месить ее — удовольствие малое, а растянемшись — калекой станешь, не дай-бо... Зато здесь наверху и сухо, и призор лучше. Ткачук на зрение не в обиде, и хоть нитку вдеть не получается, марь застит, но для дали у него зенки, что у коршуна.

По свежей пашне расхаживали вороны, молча и угрюмо, как монахи. Вдоль дороги выстроилась шеренга тополей. Пустое дерево, считает Ткачук, только в гору растет да хрущам приют, ни продукта, ни защиты. Одна может польза — знак подают, сколько до села топать. Ткачук сделал берегом долгий крюк, но снова вышел недалеко от околицы. Весь этот путь река блуждала, вязала петли меж зарослей узколистного вербника. Лещевые места, непуганые. Над водой свисали тонкие и длинные вици с желтыми сережками, почти касались течения. Дырявые тени лежали под берегом, а где излука брала начало, до самого села зеленел простор житного поля.

Ткачук глянул с обрыва и вдруг радостно ругнулся: на стремнине, среди белых всплесков, качалось бревно. Вай-ле! Метров семь-восемь будет! Лескозное! Из дока, наверно, смыло — в большую воду часто такой дарунок случается, но у других... Нет, не обманулся сегодня Ткачук, не обманулся...

Первым желанием было бежать к броду, но вспомнил с досадой: оттого и плывет бревно, что половодье, бродов нет. Сюда плоскодонку. Но кто решится выйти? Один Ваньца Лозовицук страха не имеет. У него руки долгие, достанет шестом до дна. Вопрос, где Ваньцу сыскать? Магазин в этот час еще закрыт...

... а ноги уже несли к селу. Напрямки тут недолго, а для такого дела — пулей можно. Главное, Ваньцу срочно найти, он не откажет, на риск выйти — ему в усаду, только скажи — в два счета бревно забагрит!

Внезапно небо над головой заполнил стрекот мотора. Должно быть вертолет. Но Ткачук притушил любопытство, не-когда рассматривать, пустяками забавляться. Поспешать надо. Придумали вертолетов на нашу голову, небеса вхолостую пашут, а для земли нет их, для земли моторов не хватает. Ткачук все понимал, может даже больше, чем другие, но как железо летает, понять не мог, не клеилось это в мозгу. И когда заходила речь о спутниках да космосах — не сомневался, точно знал, что брехня. Мало чего в газетах врут, бумага стерпит, про

жизнь счастливую тоже написано. Какие там спутники, когда топить нечем??!

Но Ваньца оказался дома. Сидел на пороге, расставив босые мослатые ступни, и кормил пса — тот жадно лакал варево из бреховки. На приветствие Ваньца не ответил, поднял остекленевые буркала и, кивнув на пса, с трудом вытолкнул слова:

— Во... г-голодный, бля...

Ткачук в сердцах смахнул рукой. Не теряя попусту времени, вышел со двора, даже не прикрыв форточку. Такого подвоха он не ожидал, а хуже всего, что не мог высказать Ваньце в си-вущую морду, какой сын у его батьки, все равно не понял бы в своем беспамятном виде. Тут некогда слова тратить, решать надо — по расчетам Ткачука бревно прошло уже половину пути. И ничего иного не оставалось, как плонуть себе в душу — идти просить помощи у Юрка Дорошкевича.

Удивительно, что Юрко был в легком подпитии, по-человечи стоял на ногах. Не торгуясь, он сразу согласился помочь. Лодка его лежала на безопасном расстоянии от реки. Вдвоем они споро переволокли ее к первой гребле и спустили на воду. Сами поднялись на взгорок, высматривать гостя. Ткачук беспокойно дымил юрковой сигаретой.

— Вона!

Юрко живо скатился к воде. Направив нос лодки против течения, он отталкивался шестом и медленно, чуть заметно про-двигался наперехват бревну.

С берега Ткачуку казалось, что Юрко еле ворочается, только для виду окунает шест, может, и дна не достает, а лодка скользит самоходом, плавно рассекая накатную волну. Ткачук уже пожалел, что предложил в оплату половину бревна, сгоряча ляпнул, не подумав. Юрко и за бутылку поехал бы, за такие труды — бутылка — красная цена...

... Когда Ткачук закладывал фундамент, до речки было метров шестьдесят с гаком, но с тех пор паводки всю землю сожрали, и хата теперь стоит у самого среза, в разлив из окна рыбачить можно. Одно спасение, что греблю поставили, берег не рушится. Обычно в межень с тыльной стороны гребли сухота, ребятишки в песке играют. Но сейчас за каменной отмосткой кружится пена и над водой торчат верхушки кустов.

Сюда, в затишек, Юрко подвел бревно. Ткачук не скрывал радости — не ошибся он сегодня, не ошибся! — то был гладкий бук, без сучка, с плотной сердцевиной. Ткачук сбежал домой, принес бардку. Первым долгом стесали мазутный номер, а свежий затес глиной затерли. По краям закрепили проволоку, — требовалось утопить бревно от лишиных глаз. Юрко разделялся, сидел по горло в воде, пока просели концы проволоки под нижние фашины. Разом подтянули проволоку до упора и бревно скрылось, лягло на дно. Гата! Здесь ему прижал!

Успех следовало обмыть. И Ткачук смахнул с памяти все,

что накопилось против Дорошкевичей, позвал Юрка в дом. Кряхтя достал из-под полатей начатую бутылку цуки, которую хранил с Рождества. Нашел две граненые порции, протер пальцем пыль с донышка, а на закус почистил пару стрельчатых цибуль.

Ткачук пил по-стариковски, мелкими глотками, зато Юрко пропустил в горло не дыша, и оба, макнув в солянку, захрумкали зеленью.

— Хороша-а... Где взял?

— В Слободе. С Рождества держу.

— Но?!! Правильно сделал, что держал. Хороша...

Когда опорожнили бутылку, Юрко подождал, может Ткачук еще пощет, но тот уже убрал порции со стола.

— Слухай, вуйко Тодор, отвали на мою долю полсотни, будем квиты. Я себе выловлю.

Ткачук затряс руками:

— Игий на тебя! Целый столб полсотни не стоит, а ты... поимей совесть!

— Так ведь бук, вуйко! С него меблю делают, экстра-класс! А тебе за так достался, полсотни — разве деньги?..

— То-то и есть, что бук. Была б сосна — другой разговор, на доски пустить можно, а бук — в топку, не больше...

— Ну и жмот, вуйко Тодор! Я тебе меблю дарую, а ты полбутылки ставишь на двоих, — это как, по-совецки?!

Так торговались, пока Юрко не унес в кармане две мятые десятирублевки. От выпитого Ткачук повеселел, но особая радость, что Юрка облегорил: двадцатка за бревно — это, считай, задаром, при таких дровах и зимовать не страшно. Одна удача всегда другую тянет.

Ночью во сне привиделось Ткачуку, что гонит он по улочке свою новую мебель. Круглый стол ступает неровно, оскользится, как в гололед. А стулья на кривых ножках лягушней скакут, молодые, прыткие, по чужим огородам. У плетня соседки галчат:

— Эге, вуйко Тодор, меблю на выпас повел, вай-ле, сарака...

При таком завлекательном сне и от вчерашней цуки Ткачук проспал утро. Солнце уже росу выпарило, когда он поднялся. День обещал быть ясным, но самую нужную пору Ткачук постыдно прохрапел, теперь только в полдень удастся лошадь склопотать, никак не меньше, а бук мог бы уже на подворье красоваться...

За деревьями урчала машина и доносился чужой голос. Ткачук встревоженно натянул башмаки, поспешил на шум. У съезда к гребле работал грузовой кран, а чуть поодаль стоял лесовоз, груженый бревнами. Толстый дядька, в охотничих сапогах, показывал большим пальцем в небо и хрипло командовал:

— Вира!

Кран заурчал, вытянулся назад железную лапу, и Ткачук увидел высоко над землей свое бревно. Верх бревна был сухим и светлым, лишь с испода стекала темная жижница. Раскачиваясь на тросах, плыла по воздуху кровная двадцатка, ложилась в лесовоз его надежда, его зимнее согрево, и Ткачук трясся от гнева, матерился, грозил божьей карой, упрашивал не забирать, нет еще такого закона, он знает, не пальцем сделан, река общая, кто выловил — твое, владей! А как иначе?! — Но рот не открывал, только кадык ерзal под кожей да зубы скжали до цинготного сока, так верней, так не пришьют вора и фулигана, у них это не долго — руки ломать, в два счета посадят, экое пузы нажрал, выпитый хряк, да чтоб мое бревно тебя по шее ковтнуло, каменной плитой чтоб укрылся...

По следу машины было видно, что не колесили они берегом, а прямым ходом к гребле, будто кто направил. Но один Юрко знает, где бревно утопили. Неужто Юрко привел?.. Убить мало...

Ткачук приблизился к откосу. За ночь река вернулась в свой урем. На сырому песке были отпечатаны рубчатые подошвы сапог. Торчали обрывки проволоки, а вдоль гребли, где прежде лежало бревно, сейчас, как рубец, синела вмятина. В кои века удача пришла и — на тебе — грабят! Власть называется! Паразиты! Чтоб вам глаза повылезли, ироды! Чем я пропинился, Господи...

Из-за плетней выглядывали белые бабы хустки. С косогора поспешно спускался Юрко, в синей незаправленной рубашке. Ткачук отвернулся к реке, чтоб сердце не лопло. И если бы в тот момент вода вышла из берегов и гибельной волной все село порушило, в первый черед — Юрка, всех Дорошкевичей под жабры, и эти доковские машины, и шоферов, и Ткачука — за одно, к едреной фене! — Вай-ле, не было бы у него сожаления, пропади пропадом!

Ткачук пересилил боль, незаметно от мира вытер под глазом заславелой рукой и оглянулся. Юрко бил себя по голой груди, выламывался перед шоферами:

— ... пойми, начальник, я его зацепил, я! Твой столб давно был в Дунай ушел, к мамальжникам, Лариведери!.. А как узнали, что он здесь? Сказал кто?

Шофер довольны вопросом:

— У нас на этот случай вертолеты есть!

Юрко посмотрел на небо и тоже обрадовался неизвестно чему:

— Ото да! Котелок варит! Но я понимаю — за границу не полетишь спасать столб. Верно говорю? Дружба — дружбой, а ножки — врэзь! Мне чужого не надо, но премия какая-нибудь полагается... Клянусь детьми, чуть не утоп!..

Брюхатый нехотя достал бумажник. Юрко тотчас присмирел, и можно было понять, что получил не меньше пятерки.

Не глядя в сторону Ткачука, Юрко встал на подножку лесовоза.

— Я с вами до магазина.

Машины взревели и друг за дружкой вырулили на прежнюю колею. Ткачук исподлобья смотрел вслед. Думал: не иначе, половину груза по дороге продадут, в соседнем же селе загонят, а то чего бы брюхатый раскошелился, теперь свое наверстает...

Машины катили по толоке. Юрко стоял на подножке, держался рукой за открытое окно кабины, и распахнутая рубаха трепетала за спиной синим пламенем.

ТРЯХОМУДЬ

Яша не курил, только несерьезно пользовался чужими — еще бы, ему, как шоферу, никто не откажет. А Ткачук всегда охочий до табака, голова скучает без курева, но жаль деньги пускать на дым. В компании он настороженно выжидал, томился, пока пробудится совесть, чтоб предложили, а после благодарили, сиплый от волнения, кивал, как дятел, и украдкой нюхал сигарету.

Наедине пожаловался Яше:

— Прежде, бывало, возьмешь тютюна скруцак — он запасистый...

Яша махал потухлой спичкой, смеялся:

— Скруцак! — скажете такое... От ваших слов — на жопу сядешь! Придумали — скруцак!

— Чего не ясно? Абы тютюн сберечь, лист скручивали, оттого и скруцак...

— Вуйко Тодор, в каком веке живете?! У вас все слова допотопные. Язык сломаешь! Говорят: сирники, но то не сырники, то спички. В другой раз сирник не спички, а часы. А часы уже — будзик! Опупеть можно! И где понабрали эту тряхомудь?

— Ото всех понемногу. Кто хозяйничал, тот и оставил. Раньше здесь немец управлял, потом — румыны. Мадьяры были, поляки, теперь вот русские...

— С миру по нитке, что ли?

— Не-е-е... Почему? У нас мова файна! Не жалуемся. Она у нас вроде сборной ухи. Знаешь, самая смачная, которая из разной рыбы. Когда в наваре и щука, и рыбец, и судак, и печень наливома — ото уха! И струга туда добавить, по-вашему, хворель. Надо же, первого красуна хворелем обозвать! А он есть — струг, быстрины держится...

И разговор свернулся на милую обоим стежку: что окунь сейчас берет на блесну, а ерш — на червячка. И налим в сентябре из нор выходит, к дурной погоде клюет... Вай-ле! Да чтоывает лучше разговора про рыбалку?! — Разве что — уха! — с дыму, с жару, здесь же под бережком, злым перчиком заправлена, хлебай в свое удовольствие! Вот только ложка пропала... Была

— и нету, хочу плачь. Уже пар ноздри ломит, а она утерялась, раза оловянная! Может в траве поселял, может, под сушняком... И куда ее законопатило, курва ее мама...

ГУСИ

Дорога вела в заброшенный карьер. Гравий там кончился, выбрали до сизого ила, а дорога осталась. Разбитая когда-то сотнями самосвалов, не знавшая грейдера, она уже начала застать бритвенной осокой. Вдоль кювета поднялись красноголовые будяки. Сухие кусты держали на себе пучки овечьей шерсти. Недавний дождь наполнил выбоины плавленым оловом, и машина, в которой ехал Ткачук, зайдем петляла среди луж, проваливалась по оси, с ходу раскалывала водную гладь, а вода сердито шипела, вздымалась из-под колес и раскрытым веером выкатывалась на сушу.

Ткачук сидел в кузове на запасном колесе. Уhabы измотали до колик в боку, каждый встряс казался ему последним в жизни, будто из него вот-вот, как из лопнувшего куля, потекут потроха. Он ойкал, чертыхался, кляя начальство и свой болтливый язык, надо же, всегда молчит, стережется, и хлопцы отнекивались, только он ляпнул, мол, знает эту дорогу, угодить хотел, вот и угодил в коровью лепеху. Сейчас бригада в тени прохлаждается, снедают, а он, старый, свою печень мордует, ей-бо... Яшка-шофер совсем скурвился, гоняет, нехрист, как скаженный, будто срачка напала, небойсь, кирпичи на камы, как покойника вез бы, мирным шагом, а живого Ткачука от борта к борту бросать не совестно... В кабину его не садят, не по чину, в кабине начальство зачуханное, курва его мама. Не подумают, что Ткачуку в кузов забраться — та еще морока, и слезть не легче, года уже не прыгучие.

Голод напомнил, что на обед Ткачук принес поллитровую банку горохового супа и шмат сала, но все осталось в тобивке, среди прочих сумок бригады. А ему сейчас пусть бы не суп, ему бы в радость сухую корочку пососать. При обиженном брюхе в корочке такую сладость найдешь — слюна густеет, хоть в узел вяжи.

С растолоченной дороги свернули на проселочную. Машина пошла ровно, лишь в особо промоклых местах оставляла за собой глубокий пьяный след. На взгорке открылся простор глазам: река — недвижная, светлая, упала в зелень поймы, стадо гусей белым облаком на луговине, яблоневый сад спускается по откосу к щербатому яру, где-то палят костер, и над садом висит полоска дыма, ищет небо... Людей окрест не видать, но Ткачук знает, что скоро должна показаться хибара паромщика, здесь колхоз держит земли по обе стороны реки, для своих у них паром задаром, а с чужака за переправу по двадцать копеек дерут.

Вдруг что-то привлекло внимание Ткачука. Он приподнялся, рассмотрел получше и сразу затаранил по кабине.

Запели тормоза. Яша выставил наружу нездешний крючковатый нос:

— Охренел, старый... В другой раз так заторможу — kostey не соберешь!

Ткачук показал рукой:

— Дывысь, шо творят...

Яша сдвинул брови в сторону луга, он не любил горячиться.

— Чего они базарят?

— Дывысь, дывысь, от паразиты — душат!

Яша понимающие присвистнул, хлопнул дверцей, и машина взревела железным нутром. Не жалея рессор, газовали по кочекам и колдобинам, руль выламывал яшины руки. Ткачук посинел, держался за борт, чтоб не выпасть из кузова.

Старая протока преградила путь, на дне ее узкая топь со струйкой живой воды. Ткачук второпях не заметил, как скокнул с машины, но на земле замешкался, потерял направление, суетливо обогнул машину — ага! — и кинулся вслед за яшиной спиной. Яша бежал с монтировкой. Начальник стоял на подножке машины и, заслонясь ладонью от солнца, надрывал голос:

— Яша, стой! Они бешеные! Стой!

Ткачук тоже кричал "геть, геть!", но больше, чтоб заглушить страх, и на бегу высматривал какой-нибудь дрючик. Ткачук знал наверняка, что не бешеные они, бешеные парой не воятся. А эти вдвоем разбой ведут. Понятно, с напарником все легче. Еще с высоты кузова Ткачук видел, как два здоровенных пса гоняли гусей, рвали им глотки и гуси сваливались на земль, лишенные жизни. Одни сразу покорно замирали, другие еще сучили лапами, трепыхались, крыльями помогали поднять тело, но бессиная голова тонула в траве.

А псы в восторге, задрав хвосты, лихо метались среди всполошенных птиц и сворачивали им шеи. Ткачуку казалось, что он слышит, как хрупают позвонки, сжатые клыками. И душили они не от голода — потехи ради, от баловства и блажи. Должно быть, справляли кровавую гульбу в какой-то своей собачьей пьянке.

Услышав людей, собаки унялись — шерсть на загривке сникла, оскал потух — и бросились прочь из гурта. Яша зло заматюкался, швырял им вслед камни. Гуси шаражались по сторонам, а псы неохотно, бочком затрусили в дальние травы.

— Глупые твари, — подумал Ткачук о гусях, — гогочат впустую, накинулись бы скопом — от псов только клочья по ветру, голящом бы драпали, щеням своим заказали бы: гусей не трогать! А гусь, дура, увернулся от беды и травкой интересуется, а что его товарища кончают — это пусть, его не обходит, он себе перья чистит. Ах ты, друг.

Ткачук присел у первого гуся. Тот лежал на боку, прикрыв тело крылом, и болезнно дергал горбоносой головой. На тугой гладкой шее торчала горстка растеребленного пуха, в ней пряталась рана.

Гуси гомонливым станом потянулись к реке, на лугу остались притихлые родичи, белели, как заснеженные холмики погоста.

— Ах, шалавы... Вай-ле, какая шкода!..

— Ничего, колхоз спишет — Яша огляделся вокруг, ему не терпелось. — Давай, дед, мотаемся отсюда...

Ткачук достал из кармана складной нож.

— Почекай, кровь пустить надо.

Он заломил гусиную голову и надрезал горло пониже рены.

За розовые лапы тащили птиц к машине, пятнали траву за собой. Вдали провис разогретый воздух. Солнце не давало укрыться от стороннего взгляда, делало явным всякое движение на тихой и плоской земле. Яша с Ткачуком озирались, спешили, чтоб не принесла кого нелегкая. Даже начальник старался: закидывал гусей через борт.

— Едем домой, — предложил Яша.

Уже в кузове Ткачук подсчитал: немного-немало, двенадцать штук. Пышные, сытые, с обвислой гузкой, нагуляли мяса, голопяты! Он выбрал самого крупного и положил поближе к себе. Если у ног лежит, есть шанс, что ему достанется. А может, еще одного дадут, подумал. Нехай берут себе по пять штук, а ему пусть бы две. Ткачук знал свое место.

В бригаду его взяли из милости.

— Пользы от него нешибко, — сказал бригадир, — но вреда не будет. Верный человек. Языком не телепает.

По нечайности оказался Ткачук при таком хлебном деле. Потом по углам судачили, что счастье его проросло на юрковых костях, но то сущий поклеп и неправда. Юрко тогда расчет получил, полный месяц засчитали, лишь бы ушел без шума. В приказе значилось: *ввиду неявления на объект*. Хотя всем известно — турнули за разговоры. В сельмаге Юрко стучал по стойке, что начальство у него в маленьком кармане! На работу он не ходит, а зарплата идет... Конечно, ничего особого сказано не было, личностей не трогал, но зачем, спрашивается, при чужих трезвонить?.. И Ткачук подписал заявление на сезонного рабочего, берега крепить.

С тех пор дни у Ткачука пошли козырной мастью. И должно сказать, что в прошлом у него отменных дней набиралось не густо, вернее — с гулькин нос, а если хорошенко подумать — и вспомнить нечего. Бог не даст сорвать. А на теперешней службе будто другая власть: каждый месяц красивая получка. Ткачуку полгода пенсию собирать, сколько здесь за раз причитается. И работа холку не трет: топором тюкать да шутер кидать — привычно.

Зарплату привозили исправно. Бригадир тут же отбирал у каждого по пятерке на угощение и пятнадцать для начальника. Так было заведено не от сегодня, и хотя Ткачук вслух признавал справедливым этот дележ, но душа скулила, когда отдавал рубли. Он дольше других пересчитывал в стороне свою полочку и расставался с двадцаткой всегда последним, надеясь на случай, что забудут у него взять.

Приезд кассирши, если погода позволяла, отмечали обычно за кустами, в укрытии хвороста, чтоб от завидущих глаз не попасть на трепливые языки. Обкладывали костер камнями для большего жару, огню давали выгореть, и в раскаленные угли прятали чищеную рыбку. Пахло гарью, хрестела на зубах спекшаяся до черноты кожница, а под ней сочилась жиром рыбья мякоть, солодкая, во рту праздник.

Но у Ткачука особый расчет: так ловчit сесть, чтоб консервы поближе. В томате они или в личном соку — ему без разницы, до всякой падкий. Каждую вспоротую коробку под прицелом держит, глаз не сводит, пока не вернется на свое законное место. У хлопцев хмель по жилочкам ширяет, все турботы — напрочь! При деньгах да горилке самый похмурый день веселым обертается. В голове одни дурнцы. Ткачук смеется их байкам, и между тем, чтоб добро не пропадало, протирает хлебной коркой порожние коробки. Остатки масла вымакивает макишием, пальцы облизует, без внимания на подначки и ухмылки в его адрес. Бывало, подсунут ему пустые коробки, что завалились рядом с прошлых пьянок, но он на шутки не обижался, не знал, чьи это проделки, может и бригадира... Нехай шуткуют. Ткачук стерпит. Горшее сносил — жив остался, с него не убудет. Зато в хате деньги завелись, не хуже, чем у других. В запечье, среди негодной посуды тихо стоит глечик с прошлогодней фасолью, а на дне — заветный узелок. И с каждой полочкой все меньше фасоли нужно, чтоб доверху наполнить тот глечик. От так! Смешки строят — не беда, забава — не горе! Они, гуляки, ползарплаты пропоют да вырыгают, а на его деньгах — крест, как сырым узлом завязаны, сквозь пальцы не утекут. Однако виду подавать нельзя, чужой достаток очи колят. Дай, Боже, здоровья Ивану-бригадиру... Впервые, можно сказать, у Ткачука заначка завелась. Рубль к рублю на черную пятницу. При надобности кто взаймы даст? Родня — ворог на вороге, за улыбкой нож точат. А дочка — одно название. На Веронцию нет надежды. Зимой снега не выпросишь. В самый каленый мороз унесет со двора последнее полено, такая дося. Еще добро, что редко захаживает, с другого конца села путь не близкий. Но если про гуся учует, на карачках прибежит, курва ее мама...

Ткачук озлился от ненужных раздумий. Еще накаркает себе гостей! А ему гости — как чирий на потылице! Ему что важно? Абы в горах дожди упали, реку чтоб раздуло и гребли пошли с водой. Земле, конечно, урон. Зато людям работа есть: берега крепить. А на работе калым всегда найдется, как сего-

дня, к примеру. В бригаде лайдаки, сами в холодке сидят, карты мусолят, а ты, старый, трясишь по ямам, за всех стараися. Игий на вас! Не иначе Господь шепнул Ткачуку: покажи дорогу в карьер! Они в подкидного гачи протирают, а Ткачук с прибытком вертается, вот она, свежая гусятинка... начальник, может, раздобрится, двоих отвалит, два — лучше...

Обратный путь прошел не тряско, вроде грунтовка залезала рытвины. А сторонние размышления так отвлекли Ткачука от придорожной местности, что он не успел вдоволь додумать насчет даровой птицы, как машина загальмовала возле его ворот.

Ткачук слез на землю. Птицы остались в кузове. За бортом скрылся и его желанный гусь. Ткачук потерянно глянул на пустые ладони. Подумал: зря с машины поторопился. Где не надо, там он проворный. Теперь жди-гадай, что будет. Он здесь, а гусь — там, и никакого меж ними казательства.

Яша срочно пристроился к борту, мочил колесо. Ткачук отвел взгляд и нетерпляче переминался на месте. Тревожное предчувствие теснило дыхание. Кто их знает, эти улыбчивые на все горазды: к дому доставят и — бывай здоров!

Яша напрудил сколько следует и с облегченным настроением подошел к Ткачуку, застегивал ширинку. От неизвестности у Ткачука тряслись пальцы, кивал в сторону дома, подмигивал:

— В другой раз, вуйко Тодор. Времени нет. Открывай хату, быстро!

Ткачук послушно поспешил к порогу. В попыхах дольше обычного хлопотал над замком. Наконец, трижды повернул ключ, дверь заскрипела, и Ткачук встал посреди комнаты, без понятия, что делать дальше, если они пить не хотят...

— ... Тодор! Тодор!

Яша уже сидел за рулем, показывал пальцем на фортуку. Машина заработала и, не дожидаясь Ткачука, тронулась на выезд. Яша скалил зубы, что-то крикнул сквозь шум и прощально поднял руку. Ткачук понуро спустился к воротам. От так! Обошли его, надули, глоты! Все себе закапали. Да чтоб вам на радостях кость поперек горла! Облапошили, жадобы, старого!.. В груди ныла, разбухала обида. Ткачук из-под бровей не отрывно следил за желтым бортом, может одумаются, кликнут... Но машина свернула в проулок, гул ее слабел, пока не кончился, и над селом опять ожила полуденная тишина. Накинув обруч из лещины, Ткачук запер фортуку. Глянул и не поверили: у плетня вповалку лежали гуси. Белая груда. Один... два... три... четыре... Господи, милосердный! Это же надо... В хату швыдче! Яша — человек... дай боже всем...

Соленый туман застил ему свет. Ткачук выптер кулаком скользу.

ЗОЛОТО

В понедельник Ткачуку приспичило в магазин за дюймовыми гвоздями. Из-за тех гвоздей пришлось ему пустотные разговоры выслушивать. Глаза в сельмаге работой заняты, рыщут, что выбрать нужное в хозяйстве, а уши от безделья открыты для всякой чепухи. А в магазине по-над стенкой, чтоб не мешать народу, на казенных ящиках притерлась теплая компания: Юрко, Ваньца и Николай Бумбак. Взяли алиготе, дешевле не было. Сидели, видать, давно — Юрко уже в полный голос выступал:

— ... я тебе говорю: у них аппараты научные есть. Берут человека и по его биографии вертают задним ходом к началу. Усек? Поставят, к примеру, в этот аппарат Ваньцу, так он вниз растя будет.

Ваньцу спор не тревожил, молчал, ухмылялся, как всегда. А Николай стучал пятерней по ящику, расплескивал вино.

— Дорастет до низа, а дальше что?

— Дальше они его в первобыточное положение загонят.

— Это как понять? Матушка в пузо? У Ваньцы матушка давно померла, куда его деть?

— Не тужись! Они его в зародную соплю превратят. В аптеке держать будут, для общего пользования. Я тебе говорю: привезли аппараты. Уже в области есть.

— Где такое вычитал?

— Хэ, в газетах, конечно, не напишут. Ты, Никола, председателем был, сам знаешь — на закрытых собраниях, для узкого круга. Чтоб ни-ни-ни...

— Да кто тебя в круг допустит?

— Я пока не был, врать не стану, но начальство там ошибается.

— Ну...

— Вот и ну! Начальство рыбку уважает...

Купив гвоздей, Ткачук немедля вышел из магазина, чтоб Юрко не чеплялся с подковыркой, мол, дела на греблях идут распрекрасно — вода все спишет! Такой паскудняк — одно расстройство... Игий!!

Но тамошний разговор навяз в ушах, и по дороге домой Ткачук перемалывал слышанное, дивился людскому неразумью. И зачем, спрашивается, надо человека заново гонять в прошлую жизнь? Неуж одного разу мало? Чтоб снова мытарить? Ткачук примеривал по себе и твердо знал, что ни за какие уговоры не вернулся бы к минувшим годам. Чего там не видел? Знакомые турботы: хворая Параска, опять же война, немцы, Советы, и снова гнуть спину за гроши. Сколько себя помнит, всегда в скудости. Весь капитал, что бог отпустил — две долоны да широкие плечи. Это сейчас, к старости, зарплата файная. И калым бывает. С тех пор, как в бригаду взяли, гребли строить, впервые деньги завелись. Прежде, бывало,

тряок по соседям христарадил, а сейчас — не сравнить, сейчас у самого сотенные в узелке, абы не слазить!

Но если откровенно, без уловок, если как на духу, то дело выглядит иначе. Верно: достатка трудом не накопил, нужда по пятам принохивалась, как пес, но что богатства не держал — то враки, вроде сказать — брехня. Бог правду знает! Было у Ткачука богатство. Вспоминать не хочет, но было.

В войну разжился.

Как взяли его в сорок четвертом, выучили наскоро военной науке, в какую сторону целить, и ходом на фронт. Но в окопы, слава Богу, не послали. Видно, доверия мало имел, за то, что под немцем три года находился. По этой счастливой причине определили его в хозчасть — и съгнно, и пули не часто над головой жикают. Ткачук ценил свою службу, с начальством был робок и безотказен, даже со служивыми держался настороже, хотя помыкали им в меру. А когда чернявый Ганжиев наступил на мину, Ткачука повысили в должность ездового. Дали упряженную пару и повозку Ганжиева.

Слова сами просились поговорить про тех лошадей. Таких битюгов Ткачук больше не встречал: страшного роста, дюжие и смирные, Ткачуку под стать. Любил он рассказывать, что у них на груди бугры перекатывались, будто гарбузы в мешке. И ноги, по словам Ткачука, стояли словно столбы, с волосатыми бабками, для солидности. И копыта, верь — не верь, в размер сковороды, добро, что не брыкливы. Но прочие ездовые сомневались, не доверяли прусской породе, оттого и досталась та пара Ткачуку.

А с повозкой была история темная — Ткачук все годы таил в памяти, не выболтал. Старался не бередить старую боль. Это разговор в магазине принудил вспомнить про утрату и печальный факт. На дне повозки секрет имелся. Ткачук чистил запустение и в скрытой пазухе под ветошью надыбал немецкую сумку из мягкой кожи. А в сумке — Божий подарок! — часы разного сорта, кольца золотые, медальон с ангелом, крест наательный с цепочкой... Сущий клад! Услышал Господь, за все худое в жизни враз наградил!.. Счастье, что никто рядом не стоял, в напарники не целился. У Ганжиева, чучмека, глаза узкие были, знать, на золото острые! Вот только мину не приметил...

Ткачук не думал отправлять находку домой: говорили, что на почте шуруют в посылках. Да и на Параску полагаться нельзя, бабья натура, сорочья, растрезвонит кумовьям: а то как же, свои люди...

Ткачук приладил к сумке ремешок и носил ее на голом теле. Даже банись, уходил в уголок от чужого внимания. Словом клятым заклялся не развязывать ремешок, пока свой порог не переступит.

Смузала сумка, блазнила на грех — пополнить ее. Ткачук поначалу самой мысли пугался — ну ее к бису! — хватит того,

что есть! Но случилось, в сгорелом доме увидел труп, а вокруг безлюдье... Не выдержал искуса, невольно перекрестился и, не дыша, стал проверять, какие вещи убитому не нужны.

Сперва при таких осмотрах Ткачук зажимал себе ноздри, что не говори, не свата встретил, но потом свыкся, к запаху, к стылой коже, свыкся и не переживал. Зато сумка тяжелела от чудной начинки.

Лишь однажды промахнулся. Но это не в счет. Легкий конфуз вышел взамен трофея. Заметил Ткачук — лежит в лесу солдат, вроде, совсем задубелый. Пристроился снять часы, за ремешок дернул, все бы хорошо, но вдруг этот тип глаза открыл, в упор пялится, будто спросить хочет. Ткачук не стал дожидаться вопроса. Бежал поверх земли. Только зубы таращели. А когда, бессильный, присел передохнуть, оказалось, что в штанах сырость. Опоносился. И не такое может случиться, если покойник имеет к тебе вопрос... Он, злыдень, свой срок закончил и людей страшает со скуки. А часы у него на руке остались, нехай время смотрит...

С того разу перестал Ткачук верить бывшим личностям, сапогом туркал, проверял: совсем капут или еще передумает. Мертвяки — народ опасный, от их шуток и умом тронуться недолго, любая комиссия признает...

А сумка пухла, как баба на сносях. Грелись внизу живота чьи-то венчальные кольца и часики заграничного качества. Грелись на теле дорогие цацки и в свой черед согревали Ткачука при непогоде. И если в хозчасти выпадали минуты затишья, Ткачук присматривал сухой куток, где можно отдохнуть в стороне от других, разутться, размять пальцы, на время забыть про здешние хлопоты и порядки, главное — сумка, вот она, в укроме, причинное место — надежное место. И на губах его появлялась довольная усмешка, а в мозгу роем вились разные мечтания о будущем, когда принесет домой свой фарт. И разморенный теплом этих думок, он начинал устало кунять.

Целый год провоевал Ткачук, ни пуля, ни осколок не задели. Лишь под конец, уже весной, контузило неудачно. Нашел себя Ткачук на белой койке. Кругом незнакомые, в бинтах да гипсе. Проверил на ощупь: руки-ноги живые. Только уши заложило и голова непривычно качается. Превозмог тошноту, рубаху исподнюю задрал: на животе след от ремешка видно, а кроме следа смотреть нечего, один пуп остался. Ткачук под матрацом сумку щарил, но тут соображение полностью иссякло и стены закружились. Подобрали его с пола в замороченном виде. Почекнул он в лазарете, щеки запали от тайного огорчения. Медсестры, конечно, не в курсе, глюкозу ему кололи, чтоб не нарочком пузыри не пустил. А Ткачук все выспрашивал, кто его в лазарет доставил, спасибо сказать, да где там узнаешь...

И еще одна закорючка не давала Ткачуку покоя: что не остался в сознании взрыв. Странно получается: боль слышал, потом об землю гепнуло, ночь навалилась, а взрыва не помнит,

будто и не было. Чего бы так?.. Может кто из своих постарался, по кумполу его... Всякое бывает...

Вот и вышло, что ничего путного на фронте не заработал, кроме легкой контузии да трех медалей, одну за освобождение, другие — за взятие. Даже мелкого барака в хозяйство не привез, только несколько банок тушеники и мыло. Правда, напоследок посовестился — выторговал на вокзале шаль в разводах, для форса. Но Параска к тому времени вовсе квелая стала, болями тяготилась, не до шали ей, хотя от подарка зацвел румянец на желтых щеках.

А сохрани Ткачук ту сумку, конечно, жизнь его пошла бы легким шагом, не спотыкалась на пустяках. Первым долгом купил бы лошадь, с ней всегда есть прибыток, кому огород вспахать, кому подвести чего. Дом бы поставил под жестью, непременно от реки подальше, где тепла больше, тогда вишню развести можно, морели. Вишня самый ходкий товар в городе. Народ там балованный, при деньгах, за раннюю вишню рубли вслепую дают, бери-загребай...

... Но от этих вередивых мыслей ломило в затылке. Не мог простить себе утерю. Профукал Ткачук богатство! Как поезд мимо прогудел, так и счастье — без остановки на его станции. А кто позарился на сумку, ему бы руки отсохли, чтоб теми руками детей своих захоронил, гад паскудный, из-за него, можно сказать, лучшие желания не сбылись, ни город, ни всякое прочее... Проворонил, Тодор, удачу, ясным днем проворонил! Хавку разявил, а ловчил — хват! и нету! С водой ушло... Было золото, было... в кулаке лежало...

Ткачук остановился, затряс головой — прогнать тягостную память. Плотно, как мог, зажмурил глаза. Но в красном свете мерцало видение, что держит он на весу мокрое ведро, кони отталкивают мордами друг друга, тянутся к нему, и прежде, чем тронуть воду, фырчат вислыми губами, разгоняют круги. Затем не спеша всасывают питье в себя, изредка подрагиваая мышастой холкой. И Ткачуку казалось, что он наяву чувствует тяжесть ведра, слышит, как позвякивает уздечка... а в мотне у него, в теплом паку висит кожаная сумка, и беречь ее надо... беречь ее надо, нет примера!..

КАРПАТЫ

Две женщины грузили камень. Сухощавые, в гуцульских безрукавках-киптарях, они стояли босые и выбирали камни из реки. Мокрый подол захлестными складками облепил ноги. По машине гулко и не в лад стучали брошенные булыги. Со стороны казалось, что женщины в платках кланяются окрестным горам. Один борт машины был опущен, а колеса наполовину срезаны течением. Когда окатыш попадался особо важкий, женщины обнимали его, как живого, перекатывали по себе почти до

подбородка и, гукая от натуги, закидывали на край кузова.

Яша и старый Ткачук, расстелив ватник, устроились отдохнуть на подсохлом склоне. Больше ста километров сделали, чтобы взять в карьере два куба колотой скалы. Ехали против солнца. Дорога была усыпана слепящими лужами, такая тряская — язык откусишь. Яша говорит: по ней возить надо бы тех, кто разродиться не может.

До карьера оставалось еще километров десять, когда машину остановили эти гуцулки. Они камень в пойме собирают. А для замана шоферов обещают клубнику, если сезон, или грибов сушеных впридачу, кто у них загрузится. Только не каждый решится в речку съехать, на скрытых валунах порвать кардан очень даже просто. Но Яша не дрейфит, ему места знакомы, все облизил с тех пор, как работает в шараге по укреплению берегов. Любит он эти места. Такой красы, говорит, в мире раздва и обчелся! Воздух этот, говорит, надо выдавать по ложке, как варенье...

— А вы, вуйко, недовольны, ворчите... В газетах пишут: здесь раньше одна нищета была, постолы да трахома. Сифилис был. А сейчас глянь — какая природа! Сказка! Полный курорт!

У Ткачука глаза улыбаются из морщин. Знает, что Яше в уладу здешний покой и собственная болтовня.

— Вай-ле, твоя правда!

Однако на языке вертелось зацепить Яшу, что теперь от гриппа и рака тоже не весело, но смолчал. Нехай тешится... А лес на обочах и впрямь богатый, по-осеннему огненной фарбой пестрит. Такой бы лес возле Ткачука — ото бы жизни: дрова под боком, зимой забот не знаешь...

Тем временем женщины кончили грузить, закрыли борт, и Яша потиху, на малых оборотах вывел машину к твердому берегу. Гуцулки заглядывали в глаза, просили приехать завтра, у них еще наберется пару кубов. Яша молча протирал стекло. Отжав юбки, они пошли через дорогу в ближнюю хату.

— Почекайте! — крикнула старшая, закутивая на ходу, и облачко дыма, как шар, перекатилось через плечо.

Вскоре она принесла связку грибов на суповой нитке. Сушеные, наверно, в дымоходе, они закоптели снизу и оставляли на пальцах шелковые пятна сажи. Яша понюхал скучокистую шляпку боровика.

— Я посигналю, когда приеду, — согласился Яша и дал талон за погруженный камень.

— Щоб диты ваши булы здоровы!

Гуцулка спрятала талон под темный платок, плотно повязанный над бровями. Потом угостила сигаретами, двумя последними, и пошла к дому, держа руку на пояснице.

ЭЛЕКТРИКА

В каждом селе есть свои причуды. Так сказать, своя загогулина в характере. И свой натертый мозоль. Нет сел, что скожи, как близнята. Вроде все под одним небом порпаются, над всеми одна власть, а жизнь получается разношерстная. Кому ветер в спину, а кому снег в лицо. Одни веселятся, не просыхают, а другие лишь на праздники да в горе позволят себе лишнее. И строятся, между прочим, в отличку от соседа, и чаи варят иначе, даже стопку-порцию в каждом селе держат на особый манер: кто полной пятерней, чтоб не видно, сколько налило, кто двумя пальцами, фасонно оттопырив остальные, кто за донышко бережной щепоткой.

А в отношении натертого мозоля, то лучше не трогать его, лучше обойти бочком, не смотреть в ту сторону, потому как мозоли тоже бывают различного сорта, бывают терпимые, бывают наоборот, и держаться с ними надо настороже, иначе можно влететь в беду.

Оттого Ткачук и другие серьезные мужики при встрече не заводили разговора за электричество, не касались "лампочки Ильича". На эту тему, как ни мудрый, ничего нового не скажешь. Только уронишь себя в глазах собеседника. Или даже обидишь его. Ведь потчуюсь, извини, пережеванным, о чем он сам мог бы рассказать похлеще, он что — пришлый, или с печи свалился, чтоб выслушивать басни. И будет прав за свою обиду.

В ту пору, когда новость была еще теплой, не раскусанной, на всех перекрестках звонарили о ней. Планы загадывали, что от лампочки жизнь наладится гладкая и промтовара будет всякого.

Но минули сроки, зачерствела новина. Уже дети завели собственных детей, уже многие старшие люди перебрались за кладбищенскую ограду на постоянно, а новость все кружляет, как сметье на ветру, толочат ее на собраниях — слушать обрыдло. Только и тешился народ, когда, наклонив голову, кто-то пускал по рядам:

— Да чтобы они тоже, как лампочки — висели и горели...

В те годы, когда Ткачук служил дежурным сельсовета, приходилось ему много отсиживать на собраниях, для количества и присутствия. За исключением, если Маруся-председательша наказывала: выйди, вуйко Тодор! — и он терпеливо ждал на ступеньках, пока кончат балабонить, чтоб после пребрать помещение и расставить стулья в надлежащем порядке. Выходить на крыльцо вынуждали Ткачука, когда решался вопрос для узкого актива, не для его беспартийных ушей. Зато на прочих говорильнях он забирался в дальний угол, урывками сквозь дрему слушал выступления, но чаще клевал отяженелой за день головой.

А на собраниях не уставали распинаться, что скоро-скоро в селе будут фонари на улицах, лампочки будут свисать с по-

перечины, жизнь станет другого колеру, столько ждали — еще подождем!

И так уже свыклись с этим долбежем, что если бы до-кладчик по нечаянности пропустил страницу, не вспомнил про электрику, то странно было бы слушать и даже тревожно от не-понимания. Назавтра, конечно, от ворот к воротам полетели бы заполошные слухи, и все село на завалинках мучилось догадками, мол, неспроста вчерась промолчали насчет лампочки, что-то есть...

И может, от зрящих пересудов раскачались бы на письмо, особо те, кто на железке служат, они смелей и в грамоте ловче. Накатали бы в газету или повыше кому, в том виде, что двадцать лет ждем, тихо ждем, не жалуемся. И еще ждать согласны, лишь бы обещали. Но в этот раз по не известной нам причине не услышали, как жить будем при фонарях, даже намека не кинули, и у трудящихся появились заинтересованные мысли, на какие пока нет ответа. И народ идет на работу с большим вопросом в душе. А многие открыто думают, что нашу энергию спер к себе колхоз "Шлях до коммунизму", их председатель мастак по части зажульть, думает за своих людей. А мы, как примаки, воду в рот набрали, ходим по улицам без света, хотя от района стоим в пяти километрах по спидометру.

Так и сказать в цидулке, мол, мы не жалуемся, не из таких. Между прочим, всегда голосуем за, но кому положено, чтоб обратили сюда внимание: живем в темноте, как тараканы. Никакой видимости. Хоть глаза клади в карман. Одно спасение — луной пользуемся. Свет у ней бесплатный, всем поровну. Плохо только — сидит луна высоко, в наших порядках не разбирается, сегодня вышла, а завтра настроения нет. И сразу вокруг бардак и общие потемки. Тычемся, словно кутята, не знаем, где лево, где право, и куда топать — непонятно. Это дело? Ведь мы по космосу давно всех переплюнули, теперь пора по фонарям заплевать!

Но если откровенно, если подчиниться правде, то рассуждения насчет письма — чистая фантазия, голый ноль в практике, — не было такого случая, чтоб начальство обмишурись, не козырнуло скорым электричеством, в том плане, что старается для народных масс. Начальство не тютя, с радостью отбарабанит, какие блага покатятся по проводам да сколько веселья получит каждая душа, когда протянут под крышу живой ток.

— Телевизор смотреть будете заместо кино!

Дремливое собрание пропускало эти посулы поверх ушей, но иногда кто-то из задних скамей бросал вслух:

— Манька ноги расставит — ото тебе телевизор!

И сразу спадала сонливость, оживали хаханьки и всякие суждения.

— А у ей телевизор на ремонте...

— Ничего, потерпишь. Абы антенна стояла!

— Да на его дышле воду возить можно!

— Тфуй, скаженные! Одно паскудство в голове!

Так шутковали до правленческих ворот, до брамы — говорят здесь, и без долгих прощаний расходились, исчезали в отъезде проулков. В ночной тиши слышно было, как возле плетня шуршала струя, скребла по проволоке собачья цепь и дворняга кротким повизгом встречала позднего хозяина.

А когда зряла луна отбеливала дорогу и каждый камень был четко обозначен, где он занимает место на земле, когда виден насекомый простор плоской толоки и скаты крыш светлы, будто навошены, и всякий листок держит каплю луны, то кажется, нет надобности в лампочках, и разговоры о них — потешное время.

Но однажды пополудню, нездолго до выборов в местные советы, по улицам затукали колесный трактор, кидал в небо сизые барабанки дыма. С прицепа двое рабочих покатом стали сгребать столбы, и те гулко ударялись оземь. Народ глазам своим не верил. Но столбы — вот они, смирно лежат вдоль кювета и номер казенный на них, а это уже не байки, а то что есть. По восемь метров бревно. С какого конца не мерь, восемь получается. Просохлые, годные...

По утрам рабочие "Сельэлектро" располагались обстоятельно в холодке ближайшего плетня, ставили в затишок ведро воды про запас, накрытое пупырчатым лопухом и задумчиво дымили сигаретками, от удовольствия приспускали веки. Они охотно разговаривали с прохожими на разные темы, расспрашивая попутно про холостячек и разведенных. А в промежутке меж перекурами, поплевав на ладони, копали ямы для столбов, умело выворачивая наружу бурую землю.

Тень от деревьев укралкой пересекала дорогу, выползала из кювета и к трем часам самовольно ложилась на чужой огород. За рабочими приезжала "летучка", они неторопко собирали инструмент,сливали друг другу на руки остаток воды и прощались до завтра с хозяевами холодка.

Глядя на их работу, село пришло к согласию, что при таком старании не то чтобы лампочки — бумага не загорится. Тем более — в близкое время. Только Меланья имела мнение наоборот. В том смысле, что может скоро загореться, очень даже. Особо, у кого крыша из сухой дранки. А про соломенную стрижку и говорить нечего: полыхнет, как порох. Не зря в газетах пишут: мастера сейчас расторопные, у них в руках все горит.

Меланья — баба вредная, лучше не связываться, но есть некоторые верят, забегают к ней вечерами по делам семейного значения. За десяток яиц, за петушка или другую живность Меланья карты бросает, кому быть с прибылью, кому — с убытком, кому бубновая дорога, а кто не жилец. Карты правду знают! Они у ней давнего качества, не гнутся, лишь по краям стерлись, а новых она не держит.

Понятно, от Меланых слов про крышу сразу пошли среди

соседей волны в мозгах. Не у всех, конечно, у тех, кто хотел волноваться. Стали на завалинках ворошить примеры, кто и когда от огня не уберегся да как оно бывает, если дотла, до последней головешки, одна зола да железная койка, всякие подробности вспоминать, про детей, про запах паленого мяса...

Жуткие, конечно, разговоры. У иных баб прямо сердце захолонуло и слабость по телу. Хотелось не слышать, бежать этих рассказов. Еще беду накличут! А куда укрыться от огня? Где надежный заслон? Хоть сиди в реке по горло...

Правда, многие смотрели на эти треволнения с усмешкой. Но даже они признавали, что случись огню, то пока пожарники расчухаются, тушиль нечего. И курящий люд усердно гасил огонек подошвой, втыкал в землю дымливые чинарики.

В один из дней работы "Сельэлектро" начали рыть на крайнем взгорке. Ткачук, как должно, пожелал "бог в помощь", но голос был неприветлив и взгляд угрюмый — он не любил, когда колупались вблизи его двора. Считал взгорок почти собственным, раз прымкает к его хозяйству, значит, под его началом. Он даже заглянул в яму, что не в его привычке, — следил, как заостренная лопата мягко входила в грунт, отваливала ломоть глины, а на маслянистом срезе оставалась неглубокая бороздка от черенка.

— За такой глинник деньги брать можно, кому подлогу мазать, — подумал Ткачук, и эта полезная мысль ослабила его недовольство.

До праздника осталось совсем ничего, когда по улицам села встали столбы. Выстроились вереницей, друг за дружкой, как милиция, а трудящий народ должен стороной обходить их величество. Вот Юрко не пожелал, трудно обходить, когда ноги нетвердые, и заработал шишак, так башкой кокнулся — смотреть страшно. Во лбу синяя слива торчит. Две недели прошло, а шишак не проходит. Юрко в магазине за стакан вина давал желающим убедиться, что гуля не приклеена, хоть ведро вешай. Он даже в райбольницу ходил, может, резать надо, чтоб наука изучала для общей пользы. Очень надеялся, под шумок, инвалидность какую-нибудь определят, а там и пенсия улыбнется. Но врачи обстукали череп, помяли выступ, говорят: "Держись, парень! Уже были в медицине случаи, когда рога вырастали, ты не первый..."

Юрко жаловаться хотел на "Сельэлектро", но приятели отсоветовали: не заводись, говорят, потому как столбы не обучены, кого стукнуть надо, а кого не следует...

Не обучены... Оттого и стоит столб, как жеребячий член — в том славном смысле, что согнуть нельзя. Сам кого угодно согнет. Или втихаря подлость устроит. Разлад в семье, а потом след кулака на видном месте. К примеру, Ваньца Лозовищук всегда дорогу домой помнил. При самом загуделом виде знал, куда идти. Только закроет левый глаз, чтоб стежка ровнее казалась, наклонится вперед и тащит сам себя за шкирку. Это

Зинка, баба его, приучила, чтоб не куковал ночами, где не положено. Однако промашка случилась: задел плечом за столб — ничего особого, без ущерба, но развернуло Ваньцу против его желания и повело в обратный путь. Наутро проснулся под чужой огорожей, в будяках. Обидно, конечно, тем более, что Зинка гармидар подняла по дикой ревности. Хотя Ваньца ей ясно показал, что нет его вины, будяки свидетели. Не поверила, стерва. Зато и ходила всю неделю с фингалом у глаза. А Ваньца лазил на горище ночевать, пока Зинка не перепросилась.

А столбы и ухом не ведут, что из-за них переполох среди населения. Из-за них даже у высшего начальства, прямо сказать, метущая в мозгах и строгие звонки по партийной линии. Оказалось, что кое-кто в селе не желает к столbam подключаться. В штыки против электричества. Начальство, понятно, на это желание и смотреть не хочет. На общем собрании хай подняли, а также серьезные выражения про тех, кто неслухи и самовольцы. Маруся-председательша кулаком старалась:

— На чистую воду выведу! Хвосты прижать надо! Для вас же строят, а вы нос воротите...

Важный чин из района уламывал собрание ласковым голосом, мол, стыдно говорить, но есть отсталые личности, что светачураются...

Ткачук сидел за чужими спинами. От волнения плохо слышал. Чувствовал — по виску медленно ползет тяжелая капля. Он мысленно упрашивал председательшу забыть его фамилию, не вызывать к столу, пусть лучше вспомнит, как служил ей, старался на побегушках... Вай-ле! Он представил себе, что стоит у стола с красным сукном, переминается как стрено-женный, все ждут, что он скажет, но слова пропали неведомо куда, правда, вертится всегдашнее "курва ее мама", но не ко времени, хоть провались со стыда за свой одревесевый язык. И от этого воображения он еще ниже горбился, а на голове, где сошел волос, блестела розовая испарина.

Ткачук знал свой характер, он был уверен, что не сможет ответить в упор, как Меланья, — та сказала не громко, однако слышали все:

— Эзвенийте на слове, но в своем дворе — я газдыня.

Другие тоже нашли увертку, говорили:

— Столько жил — менять не буду... к лампе привык...

— От электрики в потылице свербит!

— Провода загорятся — не погасишь!

Размахивала руками горластая Домна:

— Не треба их свитла! До дидька! А кому що не сподобалось, нехай поцелуе мене...

Юрко с места выступил:

— Насчет электричества — не возражаю, прогресс и культура. Но столбы — это не головой думали. Понатыкали их без памяти, а они жизнь укорачивают трудящим, кто пешком и нащей интеллигенции, кто на машинах. Имейте в виду: у каждого

есть лоб. Даже у партийных. Столб так засветит — до конца дней звон слышать будешь. И врачи потом отказываются, на рентген посылают, а это уже не шутки. Все болячки на виду. От облучения, говорят, и петух до квочек интерес теряет. А человека, говорят, надо беречь! Куда беречь, когда тебе портят физиономию на лице! Ходишь клейменный и рассчитаться не с кем! Короче: столбы надо убрать! Записать — вредные для здоровья! Похоже рыбнадзора...

— Юрко, сядь! — кричала Маруся. — Трудяга нашелся! Кепку сними! А вы, старые, вовсе с глузду съехали!..

После собрания Ткачук сразу успокоился, даже повеселел. Маруся умолчала его фамилию, скжалилась, не вызвала на посмеши. Надо будет рыбку ей занести. Ведь Ткачук тоже отказался, чтоб в хате проводку били. Придумали, злыдни, его жилье переиначить. А ему неплохо как есть. Он привык, что дом встречает его незрячими окнами и тишиной. Привычным стало одиночество в хате, ее кисловатый запах, неприбранная лежанка и редко мытая подлога. Не было ни лишнего часа, ни желания трястись на эти пустяки. Зато двор был ухожен, как у справного хозяина: плетень из новой лозы, деревья волном белены, чтоб ранний мороз не поранил, огород прополот, с ровной незакиданной межой. Что ему от их электрики? — картофеля родит лучшие?..

На взгорке возле хаты заброшенно маячил столб. Ткачук похлопал по звучной древесине. Оглянулся вокруг и, довольный, что нет проводов, решил:

— Зимой, даст Бог, спилю.

Со стороны реки слышно было, как мягко трется вода об землю.

ЛИКЕР

Несколько дней Юрко дневалил на шоссейке. Машину высматривал. Добро, что погода держалась, помех не делала.

Юрко не из тех, кто против ветра дует. Характер не упрямый. Но если загорится какой целью, на нож пойдет, а своего достигнет. На все горазд. Захоти очень, даже дым над крышей уговорил бы вернуться в трубу. Только ему это не нужно. У него в голове другой интерес, по части личного настроения.

Оттого и сидел Юрко у дороги, похнюпый, нервно кусал былинку.

Раз от разу, завидев нужную машину, он вскакивал, отчаянно размахивал руками, просил остановиться, но они проносились мимо, шелестя шинами, только заверть воздуха ударила по глазам.

За кабиной тянулось длинное окатное тело цистерны. Издали, на повороте, это было похоже на головастую гусеницу.

Юрко долго смотрел вслед машине и вялым голосом, но искренно желал ей встретиться со столбом.

Наконец, один шофер поднял бровь и оглянулся на пляску Юрка. Машина притормозила, съехала в тень деревьев.

Обрадованный, подбежал Юрко, задыхаясь, кивнул на цистерну:

— Что есть?

Шофер выставил из окна круглый локоть и, как про обычное, ответил:

— Ликер.

— Ого! Дело! Слухай, будь друг, что хочь дам — отлей полведра! Курей дам, пшена, что хочешь, а?

— Ну и варнак! Куда мне твоих курей?!

— Хочешь, трос достану! Новый, в масле!

Шофер улыбнулся, подобрел:

— Картошка есть?

Юрко на миг заострил глаз, решительно полез в кабину.

— Свернешь на правую руку.

Встали у дома. Юрко знал, что Маруся еще в поле, но хотел управиться, пока пацанов нет. Спешным ходом ополоскал вердо, нашел на горище латаный мешок и кликнул шофера. Шофер держал раскрытый мешок, а Юрко без передышки набирал картофелины широкой шуфлей.

Потом Юрко сторожил ведро, серьезный от нетерпения, а шофер, присев на корточки, мудровал что-то под брюхом цистерны, пыхтел, возился с краном.

Когда струя ударила по звонкому днищу, Юрко с облегчением перевел дыхание и уже не отводил взгляда от золотистой течи. — Господи, — думал он завороженно, — господи, сделай, чтоб стенки ведра стали выше! Чего тебе стоит!

Вдруг не выдержал, в раскорячку приложился к струе и быстро, по-собачьи, стал заглатывать жидкую благодать. Пока не поперхнулся.

Цистерна кончила лить, и Юрко осторожным, коротким шагом отнес почти полное ведро в стайню.

Но прежде, чем спрятать добыток, он медленно, с приятностью на лице, окунул в ведро ладонь и расшевелил внутри желтоватый застой. Вынув руку, стал вылизывать, обсасывать каждый палец.

Машина еще не уехала. Шофер, двигая губами, вел какие-то подсчеты на бумаге. Юрко подумал про картошку, что осталась в доме.

— Слухай, — он потянул шофера за руку, — слухай сюда, забирай все, сколько есть. Налей еще.

В руках он держал черный чугунок.

ПЕРЕВОЗ

Несколько дней Ваньца Лозовищук на работе не показывался. Он себе на уме, жук болотный: когда с неба ситник мочит или другое безобразие во вред плану, то Ваньца на берегу, в будке с обществом кукует, а выдалась приличная погода, луг подсох, можно хворост тралевать, каждая пара рук позарез и на учете — тут он не является.

— Что с ним, кто знает?

— Болеет, — безучастно ответил бригадир, пряча взгляд. Начальник хмыкнул и справедливо высказался в отношении ваньциной души.

В обед проезжали селом, и начальник велел Яше остановиться у дома Лозовищука... Рыжий пес остервенело чесал ногой за ухом, при виде гостей тявкнул и приветливо завилял обрубком хвоста. Наружная дверь была заперта. Сквозь окна жилой половины просматривалось безлюдье и обычный беспорядок. Стекла горницы, как бельма, закрыты белыми шторками. Начальник заглянул в стайню, где в прохладной пахучей тьме одиноко нудилась корова. Прогретое солнцем подворье мирно пережидало полдень. Ручная помпа склонила жерло к плоскому камню с выщербкой посередке, и даже в этом углублении, где обычно держалось пятно влаги, было сухо.

В тени дерева на подстилке сидел младший Лозовищук. Из-за раннего возраста говорить по-людски он пока не умел, зато не мигая следил за посторонними. Рядом валялась опрокинутая кружка. Яша накачал помпу и, изогнувшись к гулкому растррубу, ловил ртом пенистую струю. Потом наполнил кружку и поставил возле подстилки.

— Растешь, парень? Ули-ули-ули...

Малый сосал тряпичную колбаску, должно быть набитую мокрым маком, какие делают в селе вместо сосок, и серьезно смотрел на свое отражение в темных яшиных очках. Одна нога его была привязана веревкой к стволу дерева, чтоб дальше тени не уполз.

Начальник нетерпеливо кликнул Яшу.

— Завтра заскочим. Больше чикаться не стану. Гнать его надо в три шеи.

Назавтра в то же время Лозовищука снова не оказалось дома. По-прежнему детеныш сидел на привязи и молча слюнявил тряпичку, но было ясно, что хозяин околачивается где-то поблизости: на луженой проволоке сушилась сеть нападки и в ней, по форме ячеек, сверкали свежие осколки воды.

— Ваньца! Ваньца! Иван!

Только куры встревоженно подняли головы на этот зов, да пес понимающи пошевелил бровями. Зато когда крикнул начальник, что привезли аванс, расписаться надо — с горища по лестнице сполз хмурый Лозовищук, в лохматой чупрыне его торчали соломинки.

— Спать лодырю помешали, да? — набирался злости начальник.

Ваньца бурчал в ответ, что, конечно, помешали, но не спал он вовсе, делом был занят, семейное дело — святое, на Зинку залез, а тут во дворе кричат, чего кричать, когда Зинка не пускает, вот только про аванс услышала, стерва, сбросила с себя, иди, мол, расписуйся, писатель... Надо знать, чего кричать...

Ваньца с укором смотрел, как Яша повизгивает, не понимал, что смешного, когда разлад в таком деле. А начальник пытался удержать строгий тон:

— Кончай, Лозовищук, дурочку строить! Последний раз предупреждаю...

Сердясь, начальник багровел лицом, хоть прикуривай от щек. Правда, по натуре был он отходчив, камень за душой не хранил, однако любил зудить, тот еще прилипала, когда начинал чихвостить. Зная его слабинку, Ваньца спешил опередить:

— Ладно... чего кричать?.. Я — наоборот — вас ждал. Рыбку приготовил. А как же... Пошли в хату! Вуйко Тодор! Петруня! — позвал он сидевших в кузове.

Темные рыбыны теснились в цинковом корыте, устало зевали, предчувствуя близкую беду. Яша захтаял при виде бесчетного улова. А начальник все распекал Ваньцу Лозовищкуса, грозил принять меры, обещал приструнить, но в речах уже не было ни прежнего азарта, ни твердости намерений. А когда в хату вошла, покачивая бедрами, хозяйка, стал он шутейно извиняться, мол, вовек не простит себе, что помешал крепить семейную жизнь, помеха в этот момент — самое вредное для мужского, так сказать, рычага...

Хозяйка кивала на Ваньцу:

— Вы его больше слухайте, он наговорит...

Она устроила малыша на печи, подоткнув одеяло валиком, чтоб не свалился, а сама, не мешкая, присела у плиты развести огонь. Юбка ее туго округлилась, голубила внимание мужиков.

Тем часом Ваньца лущил рыбу, выбирал которые помельче. Скребанет в одно движение от хвоста до головы, чиркнет ножом по брюху, и рыба раздела-разута. Обвалияет в муке для пущего шику и пустит ее на горячую сковороду. А ноздри уже дразнят пригорклый воздух.

Наконец, Ваньца выставил литровую бутыль замутненного вида, но такой злючей крепости, что когда вернулось дыхание, начальник только и смог прошепотать:

— Ш-шпирт...

Сразу после выпивки разговор завял. Каждый был усердно занят личной рыбой, сопел, чавкал, обсасывал кости, млел от истомы и вкуса, а на столе вырастала кипа обглоданных добела хребтов.

Второй заход пошел чуть легче — конечно, не так, чтоб вовсе без ужимок, задыха и кудрявых слов, — этого хватало,

но легче. И Зинка пила исправно — умела! — даже Ваньца нико-гда не видел ее на пределе, может в ту пору у самого туман вместо видимости, а может вправду нет предела бабьей силе. Ткачук от второй порции временно отказался, ладонью прикрыл: у него уже шумело в голове. А Яша совсем стопку не трогал, по причине язвы и шоферских прав, зато проворно уминал рыбу, облизываясь да выпытывал, где такая роскошь водится, знать бы место — шоферить бросил, — на что у Ваньци один ответ: в воде! Другого жилья нету. Рыба — она бес-паспортный гражданин, вроде колхозника, только и разница, что не на приколе, вольно ходит, ищет, где глыбше...

Ткачук знал, что Ваньца утаивает хлебное местечко не по жадности, а как справный рыбак, от сглаза. Рыба чует, когда хвастаешь. Ей потрафить — почтенье надо.

Начальник вдруг поперхнулся, думали — кость, оказалось — ему смешинка щекочет горло, вспомнил что-то, и увидя во-круг озадаченные лица, не выдержал — расхохотался, показы-вая пальцем на горище:

— Помешал...

Глядя на него, все заулыбались.

— Дошло... — уточнил Яша.

А начальник в смехе корчился, розовый нос сиял, как на-драенный.

Веселело застолье, шутковало. И не приметили, когда на пороге появился новый зашелец. У косяка манерно ждет.

— А, Юрко! Заходь!

— Два часа стою, на вас любуюсь.

— Молодец, мне бы такой стояк...

Потеснились, как могли. Ваньца наполнил граненые стоп-ки, штрафную всклянь для дружка, и хотя Юрко оттопыривал нижнюю губу, — верный признак, что сегодня уже угощался, — даже его пронял самогонный градус, так отчаянно затряс голо-вой.

Запалили цыгарки в свое удовольствие, и от горилки да сытости наладился за столом обычной балоболый разговор. О чем базикали, не запомнить: так, пустяшное крошево, обломы-ши без всякого значения. К примеру, что Петруня разбогател: жинка опять девку принесла. На работе он слабак, лом едва держит, а детев клепает, как племенной.

— Петруня, за здоровье твоих пердунчиков!

— Да��ую! Моя хвороба в грудях, а не в жиле. В диспан-серге говорят: туберкулез теперь редкость, а у меня есть.

— Повезло тебе, Петруня!

— Народ пошел — мелкота, такого калибра, как вуйко Тодор, уже не делают, опара жидкая...

... и так далее, в таком примерно виде до конца второй бутылки катился по скобленному столу клубок беседы: и что химия рыбу изведет, пропала рыба, слезами плачет, и что день-ги в космос пуляют, а штанов нет, все герои, а прежние заслуги

— ни в грош... Каждый втолковывал соседу про памятные обиды, про сны, про удачливых воров — все то, что самочинно скользит с разгоряченного языка.

— Ша! Сказать хочу! — подал голос Юрко.

Наступило внимание. Подняв линялые глаза поверх голов, Юрко прокашлялся и внятно заговорил, что есть некоторые его за дурака думают, так он не советует, и хочет при всей честной компании заявить, что руки и ноги порубает, кто навострился Марусе помочь, будь самый либший друг — считай себя калекой. Юрко не имеет натуру в чужой раздор встrevать и другим не позволит. Уходишь, сука, бери щмутки — и отваливай на все четыре, я тебя не гоню, но чтоб никто не помог, руки и ноги — топором! — и показал ребром ладони по краю стола, как рубать будет.

— Мы законы знаем. Пуганые. В тюрьме тоже люди живут, а кто инвалидом станет, для того — собес. Правильно говорю, начальник?

Зинка не выдержала:

— Юрко, твои-то пятеро, не в огороде взяты! Чего ерепенишься?

Он отмахнулся, как от мухи, перелез через лавку и следым шагом зашаркал из хаты. Его звали, но Юрко вышел в солнечный свет, и на открытую дверь опрокинулась тень в кепке. Затем тень сползла на глиняный пол и вытекла за поро, а гладкий брус порога опять заблестел позолотой. Ласково матюкаясь, Ваньца выбрался вслед за дружком.

За столом стало просторно, сразу ожил жвавый шум, кишмя сплелись вопросы и догадки, вай-ле, не всякий будний день обещают руки-ноги оттяпать, допекло, значит. Густо дымили цыгарки. Зинка, понятно, злится: уймитесь, куряки! дитя мне задачите!

Вскоре вернулся Ваньца, один, однако.

— Утих, баламут... — сказал он и разлил остаток по тем стопкам, кому здоровье позволяет.

— Будем трогаться, Яша? — спросил начальник, высосав последние капли.

— Угу... Ваньца, подай брехалку! — Получив газету, Яша вытер лощенные жиром пальцы и губы. — Вы покалякайте полчаса, ладно? Я мигом... Вуйко Тодор, выйдем.

У плетня, в траве приютился Юрко, ноги вразвал, голова в редких кудряшках обреченно прилипла к груди, а неизменная кепка свалилась наземь, потемневшим донышком кверху, будто для хозяина старается, на манер "подайте, милосердные..."

Ткачук не стал допытываться, куда едут, не в его звичае. Если Яша зовет — бегом идти надо. Спасибо, что зовет. Должно быть, покупатель есть на камень, жаль, рукавицы не захватил, края у камня резучие. А может, песок грузить кому-то или шутер...

Пока Ткачук прикидывал всякие соображения, вернее,

видел уже у себя в кармане закалымленный трояк, машина тем часом взбрыкивала на неровностях дороги, щедро обдавала шелковистой пылью деревья на обочине и, не сворачивая в карьер, продолжала катить по селу.

Ткачуку так и не пришло на ум, по какому делу зван, да и чего мозги ломать — Яша его выбрал, значит, быть с прибытком. Но когда машина подрулила к трухлявшему тыну и развернулась напротив раскрытых ворот, Ткачука осенило, в какую рисковую историю влип, и от запоздалой смекалки стало так муторно, что сам готов был отдать трояк, лишь бы оказаться подальше. И не зря — то был двор Юрка.

В уныные и безнадеге смотрел Ткачук на метущую во дворе, где Маруся с пацанвой по-мурашки волокли из хаты всякий скарб и укладывали около машины. Даже Яша, согнув шею, нес на плече большой тюк, пусть бы килу заработал, сукин сын, третьим яйцом разбогатеет, это же надо, так подкузьмить, теперь Юрко отыграется, вай-ле, как отыграется!..

— Не стой столбнем, вуйко Тодор! Грузи!

И Ткачук подчинился тому крику.

Кряхтел, постанывал, злобился на неохочее занятие, но за кидывал баражло в кузов, только и позволял себе — каждую вещь обозвать надлежащим матюком. Грузил. А куда денешься? Один — топор острит, другой — машиной владеет. У каждого своя правда, и какую бы сторону Ткачук ни принял — ему расплачиваться, общипанным ходить. Видать, на роду заказано: всякий, кому не лень, горазд его околпачить. Игий, плуты, трасти вашу маму!..

Наконец, кончили грузить, и хотя Ткачук не заходил в хату, однако по марусиным словам понял, что кой- какие пожитки остались там на разживу, даже чугунок с ухватом, чтоб Юрко не смел ославить, мол, обобрали до последней плошки. Но после выноса шмуток дом сразу стал похож на развалюху, где давно выветрилось жилое тепло. Приметно ползли по стенам трещины, на углах облупилась штукатурка, из лампачей торчали соломинки, вроде дом зарастает уже сединой. Даже птиц не слышно в близких деревьях, должно быть, подались на другие маектки, где есть чего клевать. И двор затих, лежит в немоте, как заброшенный цывитарь посреди поля.

Маруся с последышем заняла кабину, а прочая ребятня за брались к Ткачуку в кузов, сидят тише голубей. Кто в селе от них не натерпелся? — всем досаждали, шкоды, а сейчас качались на тюках пониклые, смирные. Ткачук искоса поглядывал на юрковый приплод, на их сухие в цыпках руки, на прядки выгорелых волос, что спадали в ложбинку затылка и, неизвестно по какой причине, зародилась у Ткачука жальба к этим белесым мальцам — беспритульные щеня, в чем их вина, раз татко достался не человек?.. Маруся не потянет пятерых, яснее ясного, единий путь — в интернат, что сироты при живом родителе. Аукнется им отцово веселье, отрыгнется его пьянка! Коль с

малолетства без надзора, когда подрастут, как ни крути, конец известный: в Сокирянах камень пилить, за казенный счет...

У Ткачуга зашевелилась рука погладить одного из братьев, но сдержался. Отвел взгляд. К такому с лаской, а в ответ не знаешь, чего ждать. Юрково семя. Конопатое волча. И вообще, не к моменту Ткачук размяк. В его пиковом положении о расплате думать надо, как ноги спасать, Юрко не зря грозил — укоротит на полметра, потом скажет — иди гуляй!

Вскоре въехали в Слободу. Отсюда Юрко взял Марусю. Годная была девка, только бесприданная, а вернулась домой с грузом, не дай, Боже, кому...

Узкий проулок заполнил собачий брех. Над прогнувшейся крышей из каглы тянуло кизячным дымом — марусины старики были в хате, но от стыда не вышли во двор. Зато соседские байструки мигом повисли на огороже.

Когда сгрузили, Ткачук вытер лоб и подумал вслух:

— Тяжко пятерых поднять... вай-ле, тяжко...

У Маруси лицо рудое, в крапинах пота. Разогнула спину и, заправив патлы по хустку, сказала беззлобно:

— А я, вуйко Тодор, в этой жизни еще не имела легкого дnia...

Достала из-за белой пазухи ушастый узелок, рассчитаться с Яшой, но тот приказал: спрячь откуда взяла, не то сам положу... И видно было, что не прочь!

— Награди вас, господи, всем добрым!.. И вам, вуйко Тодор!

Обратно ехали молча. Яша смотрел на дорогу, посвистывал, будто ничего особого не произошло, и руки его спокойно лежали на руле. Ткачук тоже смотрел на дорогу, но без интереса. Он устал. И странное дело: помимо притомы чувствовал себя довольным. Конечно, мало приятного ожидало впереди за яшину затею, теперь Юрко спровадит со света, не миновать, но в мыслях Ткачук даже возгордился, что помог Марусе. Будь что будет, зато люди скажут: не забоялся топора. Скажут: старый Ткачук — то человек, такого сыскать надо, у него в сердце — совесть, а не вата...

И от этих рассуждений настроение переменилось. Будто холодного пива поднесли в страдный день — такое облегчение. И страхи пустые сдуло, что ветром полову. Вон Яша — не горюет, один свист в голове. Это только на погнутое дерево все козы горох сыпят. А если стоять в рост — кто посмеет?..

И еще подумал мимолетно, что у Ваньци в хате компании, понятно, окосела в лежку, так что Ткачуку придется с рыбой почухаться, больше некому. Одно ведро для Яши на братья, одно — начальнику. Главное, крапиву найти, разъярную, как порох, чтоб от нее зуд огненный щел. Выстлать той ожигой внутри ведра, потом рыбу класть, и поверх рыбы опять же прикрыть. Крапивный лист свежесть держит... Такая, значит, забота.

ПРИЯТЕЛЕК

К Нестеренко в гости старший брат приехал. По селу сразу языки зашевелились. Одни говорили — на Севере мордовался, раз столько времени о себе молчал; другие считали, из Ка нады прибыл, по чемоданам видно: кожаные, дорогие, с медными пряжками. Многие за давностью позабыли, как его зовут — столько лет прошло... А Ткачук огорченно кивал головой, не постигал, как это Прокопа не помнить. Игий, забуды! При такой кучей памяти — жизнь пустотная. Прокопа забыли... как можно? Вот он, Ткачук, все помнит, будто вчера было. Разом на хворостинах скакали, сами не выше лопухов, разом парубковали, разом по свадьбам да гулянкам бавились. А то в Слободе на зеленые свято обоих так отмечали, до самого дома дорогу щекой кропили, вай-ле, всякое было...

Ткачук в суконном пиджаке, им только по праздникам пользовался, в чистой рубахе и в целых ботинках, не ожидая приглашения, пошел поздороваться по праву первого дружка. Хотел медали навесить, но передумал: залишне, дуже нарядно выходит — однако цветную планку все же приколол.

Правда, идти гостевать к Нестеренко мало приятного. Младший Михайло гонористый шибенник! Минт из себя замного, пана строит. Хату смуровал на боль всему селу — такой притетный палац. Цинком крытый, на высоком цоколе, с верандой из цветного стекла. Заходил туда Ткачук лишь по крайней надобности, когда нельзя не зайти: на поминках бывал, во все поминальные дни до сороковины, да еще в родительскую субботу — больше, кажется, не приходилось. И хотя были они в дальнем родстве, Ткачук не уважал Михайла. Характером чесчур важный, любит форсить. Думает, если киномеханик, то весь мир за яйца ухватил. Другие у него — темнота, разговора не стоят, одного себя за умного держит. Кино крутить разбирается, а что его Ганьку шофера по лозам таскают, тут он слепой, тут смекалка кончилась, шлях бы его трафил!

Но приезд Прокопа был превыше всяких нелюбовий к брату. И Ткачук спешил встретиться, махнув рукой на те пересуды, что накличет его незваный приход. Особо интересно, или Прокоп сразу его признает. Ведь, как ни крути, почти сорок годков уплыло...

Но младший Нестеренко подпортил сюрприз — уже в дверях обнародовал Ткачука:

— Вуйко Тодор, заходь!

Ткачук в волнении не различал вокруг лиц, расплывчато видел, что кто-то чужой поднялся от стола, протягивал навстречу руки. Бритое лицо, усы. От рубашки его, от шеи пахло неизвестно и приятно. А по тому, как он привалился к ткачукову плечу, как сильно облапил и не отпускал от себя, Ткачук с закрытыми, уже мокрыми глазами поверил, что это Прокоп.

За столом, кроме хозяев, собралось несколько пришлых

родичей. Ткачук пристойно поручкался. Сразу наполнили стопки "столичной", но Ткачук чувствовал, что сжатое горло не примет водку, попросил для начала воды — мелкими глотками опорожнил кружку, дергая кадыком и плеская капли на пиджак.

Потом смущенно переговаривались под взглядами родни, натужно плели беседу, мол, вот и свиделись, приятелек, вот и добре, слава Богу, что так, а сколько прошло, вай-ле, считать устанешь — живой, значит, а куда денешься...

Сидели рядом и, бормоча несвязные речи, привыкали друг к другу. У Прокопа волос на голове еще держался, и глаза по-прежнему цыганной черноты, только лицом стал круглый, в коричневом загаре, и брюшко навыкат.

Ткачук похлопал его по брюху:

— Сытно живешь!

От радости у Прокопа улыбка не сходит, под усами белеют плотные зубы. Да и как не радоваться, когда на ум приходят молодые забавы, всякие прокуды тех давних лет.

— А помнишь, Тодор, в Слободе, как мы их...

— Не. Мои ребра помнят, как они нас!

Прокоп запоздало засмеялся.

Они стали перебирать прежних дружков и соседей. Память вперемежку подсовывала и тех, кто еще жив, и кто успел помереть по собственной причине, и кому подсobili.

— А где Арон, что лавку держал?

— Его с Брахой немцы стратили. В войну еще.

— Сивый Дорошкевич тоже руку прикал... — вмешалась Ганька, но Михайло шикнул:

— Не наше дело.

— Добрые были старики... А ты, вижу, воевал? — Прокоп показал на орденскую планку.

— Он у нас герой! — похвасталась хозяйка, ставя перед Ткачуком тарелку с угощением.

Самый момент был спросить, где Прокоп провел военную пору, но чтоб при чужих по нечайности не ввести в смущение, Ткачук прикусил свой вопрос. Можно о другом потолковать.

— Так откуда ты?

— Из Австралии. Мельбурн.

— Ого, куда занесло! Это же надо — Австралия... Значит, не в Канаде. Говорят, наших много в Канаде. Словом перекинуться можно. У тебя есть, кто по-нашему балакает?

— Не. Не встречал. Только энглишь.

— Вай-ле! Ихню мову знаешь... Назови что-нибудь.

— Что?

— Да хоть бы... водка, к примеру, как сказать?

— Так и будет — водка.

— Ну-у, тогда не страшно.

На тарелке лежали куски вареного мяса и горка развалистой дымящей картошки. Ганька не скучится, щирая рука!

Дай, Боже, здоровья! А что в лозах балует — может брешут, напраслину клеют. Кто свечу держал?.. Да и как не подумать о Ганьке с лаской, если полная до краев тарелка надлежит целиком Ткачуку, без напарников и прихлебал, за ними не уследишь, умнут в один прихват. Зато отдельная посуда позволяла Ткачуку не спешить, не заглатывать по-собачьи, а жевать спокойно, с толком, давить языком кусочки мясца к поднебью, чтоб вышел сок и сполна прочувствовать забытую приятность. Он обстоятельно набирал вилкой еду и, не наклоняя головы, чинно подносил ко рту, не уронив при том ни крошки.

А Прокоп откусывал да нахваливал малосольный огурец, холодный, хрусткий, в желтых зернышках укропа. От картошки, извиняясь, отказался. И хлеб не брал — диета, говорит.

— А помнишь, Тодор, на великдень хлебцы пекли. Малые такие, корка сверху гладкая, блестит. И сейчас запах чую... Как они назывались, а?

Ткачук отрицательно замотал головой. Впрочем, кажется, были малые хлебцы... Точно были. Их даже Параска ставила. Обычно в живную среду заквашивали. Но разве упомнишь, как называли...

— Знаешь, мне даже во сне было: покойная матуся из печи выгребает их... Глазами бы съел.

Ткачук участливо слушал Прокопа. Вай-ле, бедолага! Не бойсь, натямкался на чужбине! Натер холку по чужим дворам, беспритулый... И тоска грызла ночами, если виделось, как матушка из печного нутра хлебцы достает... К утру, верно, вся подушка под щекой соленая! Врагам бы нашим такую побудку!

Прокоп заметил грусть у Ткачука, но истолковал по-своему:

— Слышал, ты вдовий... Дети есть?

— Есть... Веронция. И внуков имею.

— Это хорошо — внуки.

— А-а, бесенята... — отмахнулся Ткачук. Ему не хотелось расспросов, за кого Веронция вышла, сказать то нечего, и он перевел разговор:

— Работаешь там? — Ткачук еще раньше отметил в уме, что пальцы у Прокопа почти без ногтей, будто в копоти.

— Мало уже, Сын пускай работает. Я — как это сказать — пензия.

Ткачук осклабился.

— Мне ее тоже приносят. А сейчас в бригаду взяли, гребли строить. Вода ломает, а мы строим. Слава Богу, работа есть. Еще бывает, рыбку продам. Жить можно. Тебе ее хватает?

— Кого?

— Пенсии, — кого!

— Вроде хватает. Много ли нам, старым, надо?

— Как сказать... оно, конечно... твоя правда.

Ткачук набил рот горячей картошкой, чтоб не было соблазна спорить с гостем. Но про себя решил, что может у них

там климат к старикам добрый, оттого мало нужно. А здесь другая погода, здесь куда ни ткнись, ого-го, сколько... в первый черед к зиме брикет купить, потом — рулон толи на стайню, и солонины пару кило — тоже деньги не малые, и в окно шибку вставить, лопла, зараза, и гас для лампы не дают даром, все — надо. Как ни трудайся, латай — не латай, а прорехи светят! Ошибаешься, Прокопе: старым куда тягче, как молодым. Весь день в бригаде довбней маши, а дома огород ждет: полоть время. И сеть порвалась, и вершу плести надо — рыба сама на берег не скачет, тут тебе не Австралия...

— А рыба в Австралии водится?

Прокоп подтвердил, что море там богатое, рыбы — навалом. Но на вопрос, чем он ловит, Прокоп ответил с сожалением, что ловить не довелось. Всякую работу делал, всего перепробовал, но рыбу... нет, не занимался.

Родичи за столом уже прикончили вторую бутылку. В меру разгоряченные градусом и закуской, они вели меж собой разговор вполсилы, еще уважительно прислушиваясь к словам Прокопа. Только Михайло заносчиво рассмеялся:

— Нашему Прокопу нет нужды простоволок таскать. Для него другие ловят.

— Можно и так, — уступил Ткачук. И добавил, чтоб отсторять рыбачье ремесло: — Но если не ловишь — плати гроши.

Михайло от радости пучеглаз, щеки свекольные.

— Вуйко Тодор, слухай сюда: у Прокопа магазин! Холодильники продаёт. Ясно?

Старательно разгрызая хрящ, Ткачук согласился, что торговля — верное дело, всегда есть прикорм, главное — в тюрьму не сесть... У нас, к примеру, кто сельмагом заведовал, ни один не ушел подобру, каждого уводили. Конечно, за границей порядок иной, хозяин в кулаке держит, многое не наворуешь...

— Оцкнитесь, вуйко! У кого воровать? Прокоп и есть хозяин! Свой магазин у него, собственный!

— Но??

— Сел в гомно!

Ткачук пропустил мимо ушей михайлин глум. Все внимание на Прокопа.

— А говорил — пенсия...

— Что поделаешь, Тодор, пора на пензию... Сын бизнес ведет. Сейчас у меня жизнь — как сказать — для себя.

Какое-то время Ткачук был пришиблен вестью про коммерцию у дружка. Он даже не старался понять, что встревожило его, сидел в забытье, глухой до всего, и так владело им беспамятство, что не заметил, когда прикончил картофель и крашкой насухо вытер дно тарелки.

— Магазин, значит...

Ткачук охотно подвел стопку под разлив, ему невтерпеж захотелось выпить, во рту стало вязко. А Прокоп только помочил водкой губы и продолжал рассказывать, как про обычное,

что магазин уже давно, правда, небольшой, но место людное, бизнес о-кей! Дай Боже, дальше — не хуже!

— А это откуда? — Ткачук показал на почернелые пальцы.

— Кислотой обжег, — Прокоп убрал со стола руки. — Я ж говорил, за любое дело брался. Иначе пропадешь. Первые годы по двенадцать часов работал, пока ноги стояли. Мне б тогда твою силу! — Прокоп любовно толкнул Ткачука в плечо.

— Но и сейчас время не легкое: банки процент подняли, инфляция, налоги... Я уже пять лет машину не менял...

— Какую машину? — поморщил брови Ткачук.

— Прайвэт.

Слово звучало непривычно, чудное слуху, но с чем-то схожее, вроде слышимое в прошлом, и Ткачук на всякий случай спросил:

— Приватная?

— Вуйко Тодор, он вам про легковушку толкует. У них две: у Прокопа своя и у сына — своя. Ездят отдельно, абы не спорить. Это называется: акулы капитализма.

Михайло распалился, хавку не закрывает:

— Это еще ничего! Слухайте сюда! У них там на улице в стенках аппараты стоят, всунешь ему в глаз специальную карточку, что ты — это ты, а из той дырки тебе деньги сыпятся! Каплюх подставляй! Я вам говорю: ото техника!

Над столом ухнуло удивление. Восторженно зацокали языки, в мелкой испарине качались потрясенные лбы. Что де лается, а?! Деньги из стены гребут! Без кассира и без расписки! Господи, так есть правда на свете?!

Кто-то вспомнил, что в Новоселице таким же макаром газировку продают. Эге! Сравнил торчок с пальцем! То — шепелявая вода, то — ладно, фуй с ней! Но чтоб деньги прямо из стены — это у нас не получится. Самый хитрый аппарат не спасет. За одну ночь стену расколупают, фундамент не оставят. Народ сегодня — бойкий...

Ткачук мог бы поклясться, что разговоры эти не больше как трепотня, михайлова выдумка, и надо быть последним дурнем, чтоб верить в такие ниссенитницы. Михайло врет, не поперхнется, а что Прокоп не приструнит, тоже понятно: не хочет братана перед компанией срамить. Прокоп — то человек!

Зато гости жваво обсуждали услышанное, дивились чужим порядкам. Вдосыть угожденные пивом и водкой, они уже доказывали свое во все горло, с матюком и пристуком по столу, и сигаретный пепел свободно сыпался на праздничные пиджаки.

Ткачук тоже набряк, но общей беседой не интересовался, отколупывал помалу от горбушки, поглядывал на дружка.

Прокоп придвигнулся, со смешком зашептал в лицо:

— Минци помнишь?

Значит, Прокопа тоже проняла горилка, если в мозгу проигрывое всплыло... Кудлатая Минци. Хата ее стояла в конце

дальнего проулка, но ходили к ней загумленной тропкой, скрытно от соседских окон. Со страха и отчаянья пришли вдвоем. Напару и в огонь легче. Но в хате стущевались, оробели, не знали, как себя держать, и куда бы ни смотрели, глаза все одно возвращались на белую пышную сорочку, где приманным грехом колыхались груди. Минци увела в холодную половину сначала Тодора. Он был шире в плечах, виделся старшим, хотя Прокоп перегнал его на год. Они хлопчики были, но Минци взяла, как со взрослых, по пять лей, тогда рубли еще не знали...

— Конечно, помню... Минци. Она после в город перебралась.

На столе соблазно дышал полумисок тушеного мяса. И никакая сытость, самая отвальная, не помешала бы Ткачуку причаститься к этому великолепию. Огорчalo однache, что другие тоже тянулись отведать, не скромничали.

Ткачук пьянел со всеми. В голове приятно шумело, у виска зачастил колокольчик, будто звонница сыпала звуки. И рука стала невлада, с вилки свалилась долька мяса. Уже рот открыл, а кусок мимо проехал. Правда, пол в хате фугованный, должно быть, чистый, и Ткачуха не отпускала мысль об упавшем добре, зудило поискать тот кусманчик под столом, среди ног. Но только с желанием остался. Не поднял. Пустяковина отвлекла. Нежданно, само по себе слепилось забытое слово, давнее, дедовское, как из темного закута, выкатило на язык:

— Кокуцари!

Прокоп глядел полуумком, растерянно и косовато, промеж бровей запала морщина, и Ткачук охотно пояснил:

— Хлебцы на великден... кокуцари!

Прокоп блаженно закивал улыбкой: верно, верно — кокуцари! Ай да Тодор! Господи... Без слов пригнул к себе дружка и чмокнул сжатыми губами. У Ткачука пошли слезы. Он неуклюже выбрался из-за стола и вслепую зацепил к двери.

Прокоп вышел следом.

Лампочка на крыльце освещала сколько могла, в круге света лежала бетонная дорожка через двор, крыша конуры, новый тесовый сруб колодца — остальное пряталось в ночной глубине. Услышав людей, зазвякал цепью одинокий пес, принюхался, задумчиво повел хвостом.

Земной воздух чуть охладил жаркие щеки приятелей. Вверху, над селом, чернота была расшита мелкими звездами. Казалось — это навсегда, довеку темень и больше не вернется живое небо.

Дружки спустились к воротам. Прокоп порывался проводить, но Ткачук дальше фортуки не позволил. Еще заблуждат куда, потом руской! Ткачука ноги сами стежку знают, их учить не надо, приведут до хаты, милые — ноги-то не пили!

На обратном пути Ткачук вспомнил, что фуражку оставил у Михайла, да возвращаться не хотел. Он двигался вдоль огорожи, и раз от разу колючие кусты цеплялись за него, ко-

рябали одежду. Ткачук матюкал кусты в биса и батьку, жалел пиджак, сукно дорогое, не какая-нибудь тандита! Но руготня получалась мясная, без пороха. Не мог он сегодня серчать на полный серьез. По причине лагодного настроения.

После дармовой еды и выпивки Ткачук всегда пребывал в радушном расположении. Отвыкший от пиршества, он не переставал дивоваться ловкостью бабых рук по части скользких голубцов, плачинт с брызгой, всяких разносолов и приправ, чесночных, смачных. И, понятно, ганьцин кормеж относился к тем отрадным событиям, которые он берег в памяти для утехи в тощее время... Вай-ле, умеет, вертихвостка, готовить файные с травы, курва ее мама была!

Ткачука вело из стороны в сторону, шарпало об плетень, и он был доволен, что никто не видит его петляющую походку.

Но это была малая довольность, в сравнении с остальными. Прокоп-то весь вечер только с Ткачуком знался, душу грел, а прочие для него не выше нуля, на них смотреть — лишь глаза порить. И обнимал, как родного, на прощанье даже поцеловал по-польски в плечо, не каждый брат имеет такое уважение. Дай, Боже, ему здоровья, а деньги ему не нужны, говорит, что есть. Братья не станут. Прокоп — то человек!

Ткачук вправду был рад, что Прокоп разбогател. Считал: если по совести — иначе быть не должно. Прокоп не лайдак, до работы завязтый. Не зря, когда муровали кладку из лампача, непременно звали в подмогу их обоих. Лампач жилы тянет...

Доволен Ткачук, что судьба повернулась до приятелька мягким боком, не покалечила, и живет он заможно, хотя Ткачук и близко не представлял себе, каким чудом свалилось на Прокопа это богатство. Одно ясно ткачукову понятию: от трудов тяжких руки пухнут, а не кошелек. Должно быть, Прокоп легкие деньги надыбал, счастье подвернулось — облапошил кого, не проморгал момент. Богатство, бывает, само просится — бери, не зевай! Ткачуку такое знакомо, в войну тоже капиталом располагал... Только пыль осталась... Кому как суждено...

... суждено. Вон Прокоп две машины держит, хочет менять на новые. А ткачуковый транспорт ниже сраки начинается, и менять не надо, всегда при нем. Даже лошадь не имел. Пусть бы захудалую шкатулку — и той не было. Всякий раз чужую выпрашивал. Правда, через войну потрафило Ткачуку на пару коняк, когда в хозчасти служил, но то не в счет, то казенные. А чтоб для собственной пользы — не разжился... Да что там лошадь, козы — нет. Если разобраться, от козы тоже выгода, и корму давать не надо, сама найдет... Прокоп во дворе говорил: привез Ткачуку презент, а какой — не сказал. Свой магазин у него, подарует, к примеру, холодильник, а Ткачуку холодильник нужен, как чесотка в праздник. Куда его включать, если тока нету. Коза — дело другое, она без тока живет. Ее подключить — молоко спортится. Вот козлу вреда не будет, ток для

него, как щекотка, только рассмешит! Харил он вашу элек-трику во все дырки! Игий на вас, злыдни бисовы!..

Даже хмельной, Ткачук на расстоянии чуял реку. Особо ночью, когда от нее тянет подмоклым деревом или цветой затокой. И этот кисловатый запах означал, что к дому уже близко. Абы только не гепнуться в кювет, борони боже! Понарыли ямы, шею скрутишь, трасти их душу...

В сохранном месте, за нижней слегой крыши, Ткачук нащупал ключ. Долго возился, бормоча проклятья, не попадал в скважину замка, пока, наконец, отомкнул. В хате решил, что лампу светить нет надобности — нечего за так жечь керосин. Привычно отыскал в потьмах лежанку. Скинул ботинки, но остального снимать не стал. С облегчением выпрямив ноги, постанивая да кряхтя, устроился под ватным одеялом. И голова его немедля, как по крутыму наклону, сладко скатилась в провальний сон.

Ткачук всегда спал в одежде.

СЛОВАРЬ ДИАЛЕКТОВ

Бартка — топор.
Блеховка — жестяная миска.
Вапно — известка.
Вуйко — дядька (уважительно).
Газда — хозяин, хозяйка.
Гармидар — крик, шум.
Гата — конец.
Гепнуло — ударило.
Глузд — ум, рассудок, память.
Гойдаться — качаться.
Горище — чердак.
Гребли — плотины, полузапруды.
Груба — печная труба.
Гушма — пучек.
Довбня — деревянный молот.
Дякую — благодарю.
Живная среда — среда перед Пасхой.
Жирован — украшен.
Загальмовать — притормозить.
Кагла — печная труба.
Ковалок — кусок.
Ковтнуло — стукнуло.
Кунять — дремать.
Лагодно — мирно.
Лампач — кирпич необожженный.
Маёток — двор, хозяйство.
Метушня — суeta.
Моцно — крепко, богато.
Морели — сорт вишен.

Нападка — рыбачья сеть на длинной жерди.
Натямкался — бедовал.
Нисенитницы — чепуха, вздор.
Паркан — плетень, ограда.
Порпаться — возиться.
Порция — стопка.
Простоволок — сеть.
Рускать — искасть.
Сарака — бедняга.
Смуровать — построить.
Стайня — сарай.
Струг — форель.
Стуброватый — перестоялый в земле лук.
Тандита — тряпье.
Трайстра — сумка из грубой шерсти.
Турота — забота, беспокойство.
Файно — красиво, богато.
Фортка — калитка.
Цап — козел.
Цвентарь — кладбище.
Цикаво — интересно.
Цуйка — сливовая водка.
Шибеник — висельник, негодяй.
Шибка — оконное стекло.
Шлях бы трафил — черт бы побрал.
Шутер — гравий.
Шуфля — совковая лопата.

Зиновий Зиник

MEA CULPA

Солнце в африканской оконечности ближневосточного побережья Средиземноморья сжигает на своем пути к закатному Западу все, включая расстояния между предметами. Из-за ровности этого небесного свечения, не знающего дальних и близких планов, белые коробки отелей кажутся облаками, не существующими тут, впрочем, в это время года; а выбеленные известкой лачуги аборигенов путаются с мелкой грязноватой пеной прибоя. От предметов и людей остаются контуры, они становятся похожими на плоские аппликации; так орнамент на хиросимском халате проявлялся на коже радиоактивным свечением. Пальма накладывается на море, апельсин на голую грудь, горизонт сливаются с пляжным зонтиком. Весь мир глядится как плоская проекция, диапозитив с мощной слепящей лампой за стекlyшком. Отсутствие глубины и дистанции сдвигает разбросанных по пляжу нудистов в одну кучу тел, как будто переплетенных в оргиастическом объятии. Разыгрывая скромного человека, ретирируешься под навес, но и оставаясь в тени, все равно превращаешься в темную личность. Это не значит, что вылезая на солнце, белеешь. Нет, ты становишься красным. Но не от стыда. Такова моральная диалектика пляжного времяпрепровождения. Это Восток: тут торжествует коллективизм, а твой западнический индивидуализм утончается до обратного самолетного билета в Лондон. Но и билет не на тебе, а в камере хранения: брюки (цивилизация) и твое тело (природа) уже не единое целое.

Эта пейзажная плоскость и путаница планов переносится

и на твое представление о прошлом, настоящем и будущем. Счастливы люди пустыни, люди Востока, потому что из-за одинаковости горизонтов расстояние отмеряется временем, а время — сменой колеров горизонта. При таком солнце все существование сливается в одно длинное и долгое мгновение. В подобной растянутости и неподвижности настоящего — величайший оптимизм Востока, которому чужда и западная ностальгия по уходящей эпохе и западное отчаяние, вызванное постоянным уходом, сменой географии, метаморфозами ближнего в дальнее и наоборот — короче, постоянным ощущением потери. Но верно и обратное: человек, живущий в героической экзальтации по поводу пережитого времени и преодоленного расстояния, не может смириться с внеисторичностью пляжного времена-препровождения на Востоке, где все голы перед временем, как нудист под пляжным солнцем, где медали твоего героического прошлого отданы в камеру хранения, а ключи выброшены в море песка.

Вдоволь насытившись этим солнечным безвременьем, яшел с пляжа на площадь, где вокруг одной забетонированной плешики в тесном нагромождении сосуществовали ресторанчики и сувенирные лавочки, продавцы мороженого и фалафеля перекрикивали гортанный надрыв местных поп-звезд из магазинчиков пластинок и магнитофонных кассет. Отсутствие ощутимой смены времен и перемен в пространстве подменяется у здешних жителей созданием искусственного шума и фиктивных перемещений. В суетливом циркулировании владельцев ресторанчиков вокруг собственных пустующих столиков от бара к дверям и обратно, с целью зазывания посетителей, чуть ли не хватая ротозеев за рукав, и было, пожалуй, единственное сходство между приезжими курортниками и аборигенами: впрочем, и эта близость — фиктивная: владельцы заведений, при всей своей жажде наживы, не столько суетились, сколько оттанцовывали свой долг — ритуальную пляску по зазыванию клиента, вне зависимости от того, есть ли он, этот клиент, или его нет; концерт, так сказать, продолжался вне зависимости от наличия зрителей. Туристы же толпились взад-вперед по площади, шарахаясь испуганно при любых попытках заманить их в то или иное заведение; им казалось, что у ритуального танца аборигенов на площади — своя тайная цель: их погубить, обчистить как липку и, возможно, смертельно отравить.

Я, иронически улыбаясь, наблюдал как спектакль эту курортную суматоху, сидя в тот день в своем любимом арабском заведении в углу площади. Место это на вид неприглядное, с пластмассовыми столиками, и даже бумажную салфетку — и ту надо специально вытирашивать. Но зато араб этот подавал исключительный хумус с тхиной, а такого кофе не получишь даже в Восточном Иерусалиме. Неприглядность этого заведения, с несколькими столиками на улице, спасала его от наплыва туристов. Я потягивал кофе, пережидая, когда откроется после перерыва на "сиесту" газетный киоск: каждый день я заглядывал сюда после пляжа, чтобы купить "Геральд Трибюн"; знакомые английские синтаксические конструкции начинали в здешнем окружении звучать невнятно, доставляя странное наслаждение именно своей невнятностью. Правительственные кризисы и крах на бирже, взлеты и падения в карьере и диалог поколений, право на выбор места жительства и связь времен, гражданская совесть и конец романа — все это становилось иллюзорным, походило на мираж, как и подобает в стране вечно-голубого неба; как иллюзорным казалось, скажем, разнообразие лиц в толпе на площади передо мной.

Казалось бы — какой калейдоскоп физиономий, одежд, замашек; но если взглянуться, обнаружишь поразительную повторяемость стереотипов: скуластый, толстогубый, альбинос, конопатый — вот весь маскарад и исчерпан; экстравагантность нарядов начинает быстро рассортировываться по полочкам стран и народов, и если не угадываешь этническое происхождение человека, то его гражданство, по крайней мере, становится очевидным с первого взгляда. Гражданство если не нынешнее, то исконное, прежнее. Тут можно даже, думал я, встретить лицо, жутко напоминающее Михаила Сергеевича Гречу. Откуда, казалось бы, взяться тут этим мощным, как будто проеденным потом, залысинам? этим, чисто российским, мощным лобовым шишкам завсегдатая публичных библиотек? этим обширным покатым плечам с наклоненной по-бычий шеей — от привычки склоняться к собеседнику в библиотечной курилке, когда стоишь, вжавшись спиной в угол, прикрывая ладошкой свои собственные слова, вылавливая из дыма слова собеседника; этим советского вида очкам в псевдо-черепашьей оправе, спадающим с носа вот уже добрые сорок лет — так что указательный палец, задвигающий их обратно на

переносицу, почти прирос ко лбу в жесте вечной задумчивости, вечной проблемы выбора?

Видимо, подобный типаж — явление не столько историко-общественное, сколько антропологическое: физиологическое сходство между Гречем и грузным туристом в панамке было поразительным. Я не успел докончить в уме этой формулировки, когда совсем иное умозаключение стало прокрадываться в мои мозговые извилины. Тип этот, оглядывающийся загнанно по сторонам, как всякий изголодавшийся приезжий, медленно продвигался в моем направлении, и с каждым его шагом мне навстречу, с каждым шарканьем его каучуковых башмаков по асфальту, все сильнее и громче вколачива-л-ся в высок под стук сердца несколько неожиданный вывод, что сходство между надвигающимся на меня типом и Михаилом Сергеевичем Гречем не просто удивительное; что сходство это прямо-таки идеальное; что этот тип и Михаил Сергеевич — просто-напросто одно лицо! Короче говоря, на меня надвигался не кто иной, как Михаил Сергеевич Греч собственной персоной.

От него уже в Москве шарахались люди его поколения еще в легендарные годы хрущевской оттепели. Он был грозой московских сборищ в самиздатские шестидесятые, когда призывал выходить на площадь и самосожигаться, и он же клеймил в семидесятых отъезжающих евреев — как крыс с тонущего корабля, призывая оставаться русской лягушкой, квакающей из советского болота. Он был не столько производителем громогласных силлогизмов и устаревших парадоксов, сколько их воспроизводителем — он был общественным магнитофоном с хорошим усилителем. Он надоел своим друзьям, потому что как откровение повторял то, что они давно зазубрили назубок, пережив на собственной шкуре; рассчитывать он мог лишь на неопытных юношей, нервических подростков, воспринимавших его как мученика и нового Сократа. Они чуть ли не хором повторяли за ним знакомую самиздатскую жвачку: про хрустальный дворец на крови младенца, про революционную утопию, обернувшуюся тоталитарным кошмаром, про пассивное молчание как преступление, приравниваемое к активному доносу. Молчать они явно не умели, и лишь эта одержимость с пеной у рта, эта кружковщина и конспирация, эта непримиримость в ее зеркальном подобии большевизму — все это отпугнуло меня в свое время, не сделало одним

из них, поставило меня вне их движения и заставило взять курс на окончательную отделенность.

Конечно же, и я прекрасно понимал, что Греч имел в виду, когда путано разглагольствовал о чувстве вины за соучастие в чудовищном происходящем. Он принадлежал к поколению тех, кому слишком поздно — столетие спустя — удалось прочесть запрещенный в свое время роман Достоевского "Бесы"; он был в ужасе, узнав себя в одном из действующих лиц. В отличие от его поколения, поколения опозоренных персонажей Достоевского, мы считали себя не более чем пристыженными читателями "Бесов". Обоим в какой-то момент опостилила эта книга как таковая. Мы решили захлопнуть переплет. Так мы оба оказались в эмиграции. Но вместо того, чтобы начать новую жизнь, он стал тут же выискивать продолжение старого сюжета. Он создавал себе новых врагов здесь, чтобы продолжать заниматься прежними доказательствами собственной правоты там. Тема тоталитарного рая на крови младенца и преступного молчания в атмосфере соучастия сменилась историографической версией все того же вопроса "кто виноват?" в эмигрантском варианте: спустились ли большевики с Марса на диалектических треножниках — или же советская власть лишь диалектическое завершение рабского триединства православия, самодержавия и народности? Считая свой отъезд в эмиграцию публичной манифестацией протesta против советского рабства, он видел в любых либеральных реформах советского режима угрозу собственному героическому прошлому, настоящему и будущему в эмиграции — если сейчас там все так либерально, к чему вообще было эмигрировать?

Периодически я сталкивался с ним на площадях и перекрестках российского зарубежья: в гостиных, на премьерах, конференциях. Кроме того, семья его супруги — из греческих миллионеров — покровительствовала искусствам и литературе, особенно русской литературе, а там, где фонды и стипендии — короче, там, где деньги, там и общение. Столкнувшись со мной, он тут же вежливо брал меня под локоть, отводил в сторонку и, вжав в угол, как в советской библиотечной курilке, громким шепотом начинал втолковывать и разъяснять мне зловредную подоплеку очередного общественного крена или европейского феномена, который оказывался — в его блестящем разборе — не чем иным, как все тем же пресловутым большевиз-

мом, лишь в новой маске. Я представил себе, что сейчас он взмахнет руками, увидев и узнав меня, схватит меня за плечи, начнет трясти, подсядет к моему столику, склонится надо мной своими черепашьими очками и начнет долдонить что-то конспиративно разоблачающее, якобы парадоксальное и невыносимо занудное.

Сама мысль об этом ударила куда-то в висок и вонзилась в троичный нерв, обожгла глазное яблоко, как слепящий луч ближневосточного солнца, поймавший меня солнечным зайчиком, вдруг отраженным от дальновзорких очков Греца. Первая реакция была: вскочить и убежать, даже не расплатившись. Я дернулся, но снова прирос к месту: публика в это мгновение как будто специально расступилась, расчистив между нами дузельный коридор в четыре шага. Любое резкое движение и его взгляд поймет меня в очковое колечко роговой оправы. И исчезнет этот залитый солнцем прекрасный и наивный в своей плоскости, как полотно примитивистов, мир. Исчезнет загорелое женское колено за соседним столиком, переходящее в гору апельсинов за стойкой бара, где лебедь, плавающий в озере базарной картинки, путается с белым парусом в море, проглядывающим в заднее окошко. Исчезнет иллюзия собственной опрошенности — без всех наших апокалиптических провалов и эсхатологических взлетов. Я обманывался: что бы ни делало здешнее солнце, уравнивая судьбы и расстояния, российский интеллигент вроде Греца (кем бы он ни был, татарином, жидом или русином) на этом фоне становился еще более навязчивым, неизбежным, настырным, как в Англии тень от наползающего на солнце облака. Я застыл, прищипленный острием этой тени к своему месту за столиком, в надежде, что туча проскользнет по небосклону и уберется восвояси. Только надо сидеть не шелохнувшись, и тогда острый взгляд этого удава, приползшего из чащобы российской духовности, скользнет мимо, не заметив меня, мышку западнического рационализма.

Но ускользнуть явно не удалось: его глаза, его идеологически заостренные зрачки российского книжника и фарисея, уставились прямо на меня. Я сник. Я, как тяжелобольной в постели, приподнялся, сокрушенno опираясь на столик одной рукой, а другую вздернул вверх и помахал ею, якобы приветственно, в воздухе.

Никакой реакции. Его зорко сощуренные глаза продолжали выедать меня взглядом, не мигая. Его лицо даже не вздрогнуло. Он смотрел явно на меня и, тем не менее, меня как будто не видел. "Может, он за эти годы ослеп?" — и я стал в панике припоминать, всегда ли он носил очки и какие, тут же, впрочем, осознав, что слепому очки вообще не нужны. Я сидел окаменевший под его гипнотизирующим взглядом, пот катился градом со лба. В его молчании, в сомкнутой линии рта и немигающем взгляде таился укор. Это был бессловесный укор пророка, невысказанный упрек и уничижительный взгляд прорицателя мировой катастрофы — надвигающегося мирового оледенения под названием "тоталитаризм", от которого (от оледенения) я и сбежал легкомысленно в этот жаркий рай плоских идей и незамысловатых маршрутов. Я оглянулся вокруг как будто в последний раз, провожая взглядом это, лишенное какого-либо смысла и потому райское для меня место. С момента появления Греца этот необитаемый островок грозил превратиться в коммунальную квартиру идеологических склок.

На глаза мне попалось меню, вывешенное у меня за спиной перед входом в заведение. До меня вдруг дошел смысл его остановившегося взгляда: он глядел в упор не на меня, а на меню у меня за спиной. Меню было нацарапано, как это бывает в подобных простых заведениях, мелом на черной, как будто школьной, доске. У пожилого Греца был вид школьника, пригвожденного вопросом учителя к этой классной доске, где одним из сокашников накарябана загадочная формула. Ответа он явно не знал. Меню было наполовину по-арабски, частично на полуграмотном английском, почерк черт знает какой, цифры цен сдвинуты в другой ряд по отношению к наименованию блюд, смысл которых он явно не мог разгадать: я заметил, как шевелятся у него губы, пытающиеся в повторном движении доискаться до смысла иероглифов на черной доске. Чем сильнее его взгляд увязал в загадочном меню, тем яснее становилось мне, что взгляд человека страшно избирателен: человек не видит предметы вообще, даже если они и попадают в его поле зрения; взгляд человека подчиняется законам субъективного идеализма — он видит лишь то, что хочет. Михаил Сергеевич Грец страшно хотел есть. Поэтому видел он не лица идеологических оппонентов, вроде меня, а меню — разнообразные меню разно-

образных заведений; при всем своем разнообразии, я не входил в меню, и он меня не видел. Он глядел поверх голов.

Осторожно, стараясь не спугнуть его глаз, я, не выпрямляясь, съехал со стула и задом, не отрывая взгляда от Грека, попятился прочь от столиков заведения. Ретироваться можно было лишь в одном направлении — вверх по лестнице на балюстраду, где располагался еще один этаж с аркадами магазинчиков и ресторанов. С этого момента какие-либо идеологические дilemмы оставили мой ум: я мыслил, как партизан в стане врача, как стратег, пытающийся прорвать военную блокаду. Верхние галереи были хороши по крайней мере тем, что как наблюдатель я занимал тут командную позицию — отсюда просматривался каждый шаг Грека. Как в подзорную трубу, я следил за его передвижением от заведения к заведению, от витрины к витрине; наконец, он остановился возле стойки с открытками у входа в кафе с англоязычной "интеллигентской" публикой, где обычно продавали "Геральд Трибюн".

Пока он крутил вертушку стойки, разглядывая открытки, я злился на самого себя, разглядывая его. Неужели из-за какого-то старпера-демдвижника я нарушу свой послеполуденный моцион и лишусь кофе под "Геральд Трибюн"? Неужели я не найду в себе тот самый мускул душевной жесткости, избавляющей от лицемерия, и не отброю его стандартным "приятно встретиться, но, извините, как-нибудь в другой раз"? Почему я должен скрываться от него, как школьник, прогуливающий школу, скрывается от родителей? В этот момент он поднял голову и оглядел верхний этаж, как будто бы задержавшись взглядом на том месте у лестничного пролета, где я стоял. Коленки мои снова подогнулись и там, где сердце, стало пусто, как перед экзаменом. Неужели заметил? Не может быть! при его близорукости! но почему — близорукости? Почему не дальтоноркости? откуда мне знать — я что, его окулист, что ли?! Злясь на самого себя и эти экзистенциальные вопросы, я, демонстративно выпрямившись во весь рост и задрав подобородок, стал спускаться по лестнице, громко стуча каблуками, но тут же нервно вцепился в перила и стал жаться за спины прогуливающейся публики, когда вновь увидел Грека у столиков "моего" заведения.

Он опять тупо изучал невразумительное меню. Потом, оглянувшись пугливо, по-русски (я же в свою очередь пугливо

нырнул за очередную спину прохожего), уселся за столик, отерев пот со лба панамкой. Значит, понял, что это стоящее заведение? Каким образом, однако, он решился выбрать именно это, ничем не примечательное заведение из десятка других, аналогичных? Своим видом и образцами блюд, выставленных под стеклянным колпаком за стойкой бара, заведение должно было, скорее, отпугнуть такого человека, как Михаил Сергеевич Грец с его требованиями борща, котлет на второе и непременного киселя на закуску вне зависимости от климатических условий. Единственное объяснение состояло в том, что он-таки заметил меня сидящим в этом заведении; а если я, известный знаток здешней жизни, сидел именно в этом заведении, а не в каком-то другом, значит это заведение стоит того, чтобы в нем сидеть. Такова была неизбежная логика Греца. Если, конечно, он не руководствовался какой-то другой логикой — например, логикой случайного выбора.

Так или иначе, сидел он в этом заведении, как выяснилось, недолго. Сжимая в потных руках купленную наконец заветную "Геральд Трибюн", я пробирался сквозь толпу к выходу из магического бетонного квадрата ресторанный площадки, когда в нескольких шагах от меня, сквозь калейдоскоп повторяющихся физиономий, как наваждение, стало снова напышать лицо — лицо русской совести, отражающее, по моим представлениям, оборотную сторону русской бессовестности в моем лице: мне снова показалось, что он заметил меня, но виду не подал. "Я должен поздороваться", — твердил мне мой внутренний голос, мое внешнее чувство достоинства, моя выехавшая за пределы советской страны совесть, мой лишенный гражданства гражданский голос. Наши лица сближались, покачиваясь, не признанные пока друг другом, неопознанные среди других лиц иностранного происхождения. Толкучка была такая, что отступать было некуда.

Я уже раскрыл губы, напряг горловые связки, дернулся плечом, чтобы протянуть руку ему навстречу, но когда мы вновь оказались на расстоянии четырех дузельных шагов друг от друга в расступившейся на мгновение толпе, я сдрейфил. Я не понимал, куда он смотрит: мне казалось, что он смотрит прямо на меня, но одновременно и вне меня, помимо меня, как бы сквозь меня. Впечатление, что мой встречный друг вдруг ослеп, вновь повторилось; мы двигались навстречу друг

другу в полуденном свете, как в кромешной тьме или как во время игры в жмурки — с завязанными глазами.

В последний момент я не выдержал: ноги понесли меня резко в сторону и я шмыгнул в узкий промежуток-проход между постройками — слепой проулочек между боковыми стенами ресторанчиков, заставленный помойными баками. Мой воровской, с оглядкой, рывок закончился тем, что я поскользнулся на огрызке гнилой капусты или чего-то там еще; пытаясь удержаться, я стал хвататься за склизкие стены, вымазался какой-то дрянью, стекающей из-под крыши, и, приземляясь на кучу помоев из опрокинутого бака, ткнулся рукой с "Геральд Трибюн" в вонючий асфальт, усеянный лепешками то ли овечего, то ли кошачьего дерhma. Чертыхаясь, я зашвырнул измыгнутую газету в помойный бак, и поплелся в отель, не оглядываясь.

Трудно сказать, сколько часов я отмокал в ванной, пытаясь мыльной пеной забелить память о позорном столкновении с последующим падением в помойку. Время от времени я прикладывался к дымному ирландскому виски "Джеймисон", прихваченному еще в лондонском аэропорту; меня то ли прошибал пот осознания собственной ошибки, то ли это были просто-напросто капли пара, стекающие со лба на глаза, а глаза, в свою очередь, раскраснелись то ли от дымящего виски и пара, то ли от слез раскаяния. Я проклинал свой эгоизм и мизантропию. Черт меня дернул столкнуться с ним именно в этом ближневосточном закоулке, где, куда ни повернешь, непременно столкнешься друг с другом. В любом другом месте — будь то Нью-Йорк, Париж или Иерусалим — я бы тут же взял на себя временную роль гида, объяснил бы и показал, куда пойти, что посмотреть и где переночевать. Конечно, мне стыдно было при мысли о том, как он, человек пожилой, мыкается тут в незнакомой местности со своей престарелой супругой, еле стоящей на ногах, и толком не может разобрать меню в ресторане. Я бросил их на произвол судьбы. Он, конечно же, заметил меня. Это ясно. Трех столкновений вполне достаточно. Рассудив, что я его не желаю видеть, он сам сделал вид, что меня не заметил. И никакие объяснения насчет слепоты на знакомые лица в экзотической местности или мифической избирательности взгляда в зависимости от целей и желаний тут не помогут.

Но при всем моем чувстве раскаяния по поводу случив-

шегося я знал, что иначе поступить и не мог. Тащиться за тридевять земель из туманного Альбиона, чтобы с утра до вечера целую неделю толкаться в эмигрантской коммуналке с самым занудным из возможных соседей?! И это милое, в своем роде уютное, хотя и неприхотливое курортное местечко на краю света вдруг представилось мне символом эмигрантской скученности, эмигрантской безысходности. Да только ли эмигрантской? Почему, с какой стати я обязан был еще в Москве считаться, общаться, встречаться и прощаться, и вновь встречаться с этим глупым, назойливым и крикливым демагогом? Почему наличие общего политического врага заставляет нас, российских людей, делать вид, что мы друг другу чуть ли не родственники? Я вдруг почувствовал, что ненавижу Михаила Сергеевича Гречца не потому, что он человек другого поколения или же чуждых мне идей, а просто потому, что я не могу и никогда не мог вынести ни его брызжущего слюной рта, ни его вечно грязных ногтей, его потных залысин и толстого живота. В любых других исторических обстоятельствах, в любой другой цивилизации нам достаточно было бы перекинуться беглым взглядом, чтобы осознать взаимную неприязнь и никогда больше не встречаться. В российско-эмигрантской ситуации мы потратили чуть ли не двадцать лет, уговаривая друг друга, что речь идет о разнице в идейных позициях и в проблеме поколений.

Резкий запах виски в ванной уносил меня с клубами пара в Лондон, где сейчас наступал сезон туманов, особенно под вечер, когда каждое дерево в парках обретало нимб и оттого казалось еще более независимым и отделенным от всего остального мира на изумрудной лужайке, а выступающий сквозь туман свет в отдаленном окне или неоновая нитка рекламы меняли перспективу своей видимой близостью и оттого создавали еще большее ощущение простора и одновременно гипнотической доступности предметов на горизонте. Я потянулся к бутылке: она была пуста.

На этом надо было остановиться, но меня тянуло наружу, обратно в Англию, как будто за окнами отеля "Нептун" плескался Ла Манш. Но снаружи весь городок обложила душная южная ночь. От бара к бару я бессознательно продвигался к центру, к той самой площадке городских развлечений, где и произошло столкновение с Гречем. Меня явно тянуло туда, как убийцу тянет на место преступления желание исправить

плохо выстроенный сюжет. Высвеченный фонариками, висячими прожекторами или же гробовыми толстенными свечами цветного воска на столиках, двухэтажный этот комплекс с дискотеками и ресторанами напоминал ночью рампу, ложи и балконы гигантского театра, отчего высвеченные лица казались театральными масками. В припадке пьяной искренности и задушевности я хотел сорвать маску с этого мира, притворившегося плоским и простым при дневном свете, а с наступлением тьмы обернувшегося хитроумным театром кукол; я, своим жестокосердием приговоривший своего старого знакомого чуть ли не к смертной казни через отвращение, пытался возместить эту бессердечность проклятиями в адрес искусственности нашей цивилизации, механистичности и отчужденности вообще. Я хотел сорвать железную маску цивилизации и приникнуть к щедрому теплому телу природы.

Вместо этого я прилепился к щедрому теплому телу случайно встреченной американки. Я наткнулся на нее в одном из баров, когда стал вдруг распевать по-русски оголтелым образом "всегда быть в маске — судьба моя" — то ли из оперетты "Летучая вдова", то ли "Веселая мышь". В ответ я услышал с американским журчащим прононсом: "Christ, the place is swarming with Russians!" Я сначала хотел возмутиться, но потом понял, что она совершенно права: "Это местечко кишит русскими". Как, впрочем, и американцами. Я сказал, что она совершенно права, это местечко кишит русскими и американцами, и нам ничего не остается, кроме как выпить "кровавую Мэри" — из русской водки с американским томатным соком. Она сказала, что зовут ее Мэри. Больше мы не сказали друг другу ни слова. "Кровавость" Мэри мы нашли вскоре излишней, и стали пить водку прямо так, без всякой кровавости томатного или какого-либо другого американства. Мы закончили эти упражнения по дружбе народов в моем номере "Нептуна", где всю ночь с какой-то обоянной остервенелостью изливали друг в друга совсем иные соки. Это было общение поверх идеологий и поколений. Она исчезла наутро без следа.

* * *

Впрочем, я не прав: ничто не исчезает без следа — будь то след на чужих простынях или на собственной репутации. Солнце, как я уже не раз повторял, устраниет дистанцию между

предметами; судьба, как хитроумный рассказчик, увязывает в одну концовку совершенно разрозненные обстоятельства, и за это сближение приходится расплачиваться потерянными возможностями, как обгоревшей на палящем солнце кожей.

После фатального столкновения на африканском побережье я понимал, что не смогу принять приглашения семейства Грецев: провести "творческий отпуск" на их вилле в Греции. Особняк этот достался Гречам в наследство через супругу Михаила Сергеевича, Софью, в девичестве Попандопуло. Софья Константиновна, как я уже упоминал, происходила из семьи миллионеров — феодосийских греков; отец ее полжизни провел в России, был большим знатоком литературы и искусств, меценатствовал, знал Дягилева и Бенуа. Он завещал небольшую, но регулярную сумму денег — своего рода фонд-стипендию — в помощь нуждающимся русским интеллигентам-эмigrантам. Речь шла об оплате всех дорожных расходов и полном содержании (от одного до трех месяцев) в шикарном особняке с мраморными колоннами (конечно же, под Акрополь) на Крите. Критинизм состоял в том, что я, оказавшийся лауреатом этого года, чувствовал себя вынужденным от этого рая отказаться. Созерцать каждый раз за завтраком светящуюся верой в человечество физиономию Гречеца и вспоминать его растерянное под африканским солнцем лицо с устремленным на меня невидящим взглядом — было выше моих сил. Моя аморальность не подразумевала непоследовательности в вопросах морали.

Поэтому, когда на мой лондонский адрес прибыла депеша с Крита с официальной просьбой к стипендиату подтвердить предстоящий визит, мне ничего не оставалось, как сочинить пространный ответ-отказ, где, раз десять выразив благодарность фонду Попандопуло за оказанную мне честь, я объяснял невозможность воспользоваться на этот раз гостеприимством семейства Грецев ссылкой на неожиданный контракт с французским радио, что требовало моего постоянного присутствия в Париже (контракт на инсценировку моего романа "Русская служба" действительно был подписан; но моего присутствия в Париже при этом совершенно не требовалось); в конце письма я выражал надежду воспользоваться щедростью фонда Попандопуло в будущем, до скорой встречи, Ваш и т.д. и т.п. В ответ тут же пришло экспрессом письмо от Михаила Сергеевича Гречеца. Вот оно без дальнейших комментариев:

"*Mea culpa*, Зиновий Ефимович, *mea culpa*. Предвидел Ваш отказ, надеялся, что минет меня сия чаша позора — и вот! старый дурак, признаю: наказание заслуженное — *mea culpa*!

На всю жизнь, голубчик, запомню Ваши глаза, глядящие на меня с безмолвным укором — из-за столика, в толпе, с галереи. А я, старый дурак, делаю вид, что не вижу Вас в упор. Вас, с кем всегда так рад перекинуться словом, обменяться взглядами (*sic!*) по текущему моменту. И не единожды — три раза наложил в штаны: три раза сделал вид, что не знаю Вас, три раза отрекался от Вас на том распроクリатом пятаке.

Сколько раз, голубчик, брался за перо, чтобы оправдаться перед Вами за безобразную по детскости выходку, надеялся, старый дурак, что столкнемся где-нибудь на наших эмигрантских посиделках, на конгрессе каком-нибудь — объяснюсь, думал, улажу нелепый эпизод. А сам в душе лелеял надежду, что не был я пойман сличным; что не видели Вы меня, а если и видели, то не узнавали. Бывает, знаете ли, так: глядишь и не видишь.

Но когда получили Ваш любезный отказ в связи с Попан-допуловой стипендией, понял я, что дела мои плохи. Это Вы, в своей присущей лишь Вам, голубчик, истинно джентльменской манере, дали мне понять, насколько мое давешнее хамское поведение кровно обидело Вас. А ведь совершенно, батенька, напрасно. Я, знаю, хам и арrogант ужасный, и поступок мой непростительный. Но уверяю Вас, что мы, голубчик, бесконечно с Софочкой Вас любим, глубоко ценим и уважаем.

Без обиняков приступлю к апологии — не защите! *Mea culpa*. Апология моя — *ad absurdum*: в моей лживости, порочности и сугубой необузданности моих страстей. Поверите ли? Изменяю своей верной подруге жизни, своему боевому товарищу на идеологическом фронте, санитарке своей в нашем общем эмигрантском окопе — короче, своей супруге Софье Константиновне. Люблю Софочку всей душой, умом и гражданской совестью. Но сердце мое, голубчик, пустилось наперегонки с моей сединой. И бес под ребром погнал меня в эту африканскую курортную республику, где мы с Вами так неудачно пересеклись.

Короче, американская девица, которую Вы, несомненно, заметили рядом со мной в то роковое наше столкновение, и есть причина моего непростительного игнорирования Вашего

присутствия. Я сдрейфил: с Вашим знанием английского между Вами и ею непременно завяжется светская болтовня; Вы, ничего не подозревая, брякнете американке про мою супругу; выяснится, что я женат, и моему недолговечному любовному счастью конец? Мы с ней познакомились на конференции по правам человека, она меня, как говорится, за муки полюбила, я, голубчик, кое-какие страсти присочинил. Унизительно, голубчик, входить сейчас в разные детали, но суть сводится к тому, что я перепугался: если пойдет между вами разговор, моей легенде в ее глазах — конец. Как ребенок, голубчик мой, пустился я в этот нелепейший спектакль: как только увидел Вас за столиком, стал делать вид, что я, мол, не я и американка во все не моя, никого не вижу, в упор не замечаю, моя хата с краю, я ничего не знаю. Позор, одно слово, позор!

Иначе как помрачением ума этот сексуальный мандраж в моем преклонном возрасте объяснить не могу. Если же Вы все еще питаете ко мне, душа моя, какие-либо мстительные чувства, то могу утешить Вас сообщением, что ничто на свете не остается безнаказанным. После инцидента с Вами на курортном пятаке я серьезно повздорил со своей юной американской подругой (она настаивала на кофе с мороженым, мне же в моем возрасте необходимо трехразовое питание). Хлопнула дверью и ушла восвояси, не сказав даже до свиданья. Спуталась, наверное, с каким-нибудь молодым наглецом. И даже не "наверное", а с достоверностью знаю, что таки спуталась, поскольку я отыскал отель, где она в ту ночь останавливалась ("Нептун", на берегу, еслипомните), и тамошний портье мне подтвердил, что ночь она провела отнюдь не в одиночестве, потаскуха! Что ж, теа culpa. Вечно Ваш, Мих. Серг. Греч".

Лондон, 1987



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Игорь Померанцев

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ В РАННЕЙ ПРОЗЕ Н.В. ГОГОЛЯ

Сперва настроим оптику, наведем фокус. Чем удаленней от нас автор, тем больше риск совместить его собственную жизнь с жизнью его персонажей. Возможно, через сто лет "Война и мир" будет представляться читателям художественным документом эпохи, написанным очевидцем, а шестнадцать лет, прошедшие со дня Бородинского сражения до дня рождения графа Л.Н. Толстого попросту выпадут в исторический осадок.

С гоголевскими "Вечерами на хуторе близ Диканьки" тоже порой происходит оптическая аберрация. И дело тут не только в том, что вечерний воздух смазывает контуры и перекрещивает всех кошек в серый цвет. Вещи зрелого Гоголя современны ему самому, и репутация писателя остросовременного, каковым Гоголь и был, оказывается на нашем восприятии его раннего творчества. Есть и другая причина исторической смазанности "Вечеров". Для русского и, шире, российского читателя колорит этих повестей определяется прежде всего местом, в географическом, краевом, этнографическом смыслах, а не временем, эпохой. Грубо говоря, "Вечера" – это Украина, Малороссия, а не XIX, XVIII или XVII столетье. Украина в русском восприятии представляется чем-то вневременным, внеисторическим. На уровне быта, языка, материальной культуры, наконец, фольклора Украина в русском сознании существует. На уровне же истории – нет.

Между тем, Гоголь в ненавязчивой форме дает понять, в каком десятилетии происходят события, описанные в "Вечерах".

"Минуту спустя, – это из "Ночи перед Рождеством", – во-

шел в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетьманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величавость...

— Это царь? — спросил кузнец одного из запорожцев.

— Куда тебе царь! Это сам Потемкин, — отвечал тот.”

Затем появляется и сама императрица Екатерина. По ходу разговора с запорожцами она бросает одному из придворных:

— По чести скажу вам: я до сих пор без памяти от вашего “Бригадира”.

Если учесть, что Запорожская Сечь по инициативе Потемкина была упразднена в 1775 году, а “Бригадир” Фонвизина поставлен в 1770 году, то можно с точностью до пяти лет определить время действия “Ночи перед Рождеством”. В “Майской ночи” о Екатерине уже сказано: “Блаженной памяти великая царица”. Не раз в книге упоминается и поездка Екатерины в Крым. Императрица совершила эту поездку из Петербурга в Крым через Украину в 1787 году. Этот нехитрый экскурс в хронологию понадобился лишь затем, чтобы уточнить жанр “Вечеров”. Итак, перед нами не просто фантастическое или романтическое повествование, но историко-фантастические повести*. Причем историческое необходимо автору, чтобы придать правдоподобие фантастическому: чего только в прошлом не случалось!

Книги ясного замысла доставляют наслаждение только когда ясно понимаешь их. Такова, к примеру, проза Томаса Манна. Ранние повести Н. Гоголя доставляют наслаждение, когда их воспринимаешь синтетически, а не аналитически. Темноты не поддаются объяснению. Они равновелики только темнотам. В лучшем случае их можно описать. Путь к пониманию Н. Гоголя — это путь еще большего утемнения, сгущения его темнот. Естественно, для достижения этой цели необходимы разъяснения, толкования, сопоставления. Ибо чем больше мыapelлируем к смыслу, знанию, логике, тем дальше мы от Гоголя и ближе к достижению цели: утемнению темнот.

В литературу Н. Гоголь пришел на готовое. Удачливость такого рода сопутствует далеко не всем гениям. Гений целин-

* В “Сорочинской ярмарке” и “Майской ночи” события происходят в настоящем, но завязка обеих историй — в прошлом.

ных культур вынуждены тратить силы на создание или внедрение жанров, размеров, законов стихосложения, языковых норм. От этого выигрывает их национальная литература, но лично они остаются в проигрыше. К тому времени, когда Н. Гоголь вступал в литературу, группа бывших царскосельских лицеистов уже утвердила свой школьный жаргон в качестве нормы русского литературного языка. Начинающие писатели могли этой норме следовать или, наоборот, оказывать ей сопротивление. К началу тридцатых годов романтическая школа, перекочевавшая с некоторым опозданием из Германии в Россию, не только теоретически обосновала себя, но и показала товар лицом и в поэзии и в прозе. Национальный колорит, исторические и фольклорные мотивы, мечтатели-индивидуалисты утратили свойства заморской валюты и стали расхожей монетой. Более того, эстетическая концепция немецкой школы романтиков к концу тридцатых годов XIX века эволюционировала в России в историко-философскую концепцию славянофильства, последователи которой свое учение называли "истинно русским". Уже самим названием повестей — "Вечера на хуторе близ Диканьки" — Гоголь вполне сознательно вписывает себя в определенный литературный контекст*.

Малороссийский колорит, благодаря А.С. Пушкину, К.Ф. Рылееву, В.Т. Нарежному, еще до Гоголя не был в диковинку русскому читателю. В 1817 году, опередив Гоголя на одиннадцать лет, в Петербург приезжает из Малороссии украинский дворянин Орест Сомов. Вскоре он становится влиятельным журналистом, публикует прозу и литературную критику. В 1823 г. в журнале "Соревнователь просвещения и благотворения" в статье "О романтической поэзии" Сомов, словно обращаясь к тогда еще совсем юному Гоголю, пишет: "Но сколько различных народов слилось под одно название русских или зависят от России, не отделяясь ни пространством земель чужих, ни морями далекими! Сколько разных обликов, нравов и обычаев представляются испытывающему взору в одном объеме Рос-

* Ср. с названием повестей ведущего тогда прозаика-романтика А.А. Бестужева-Марлинского "Вечер на бивуаке", "Второй вечер на бивуаке", "Вечер на Кавказских водах в 1824 году". На прозе А.А. Бестужева-Марлинского лежит тень готического романа. В ней выставлен напоказ традиционный готический набор: трупы, призраки, клады, моры. У Гоголя утопленниц тоже хоть пруд пруди, но их роли исполняют комедийные актрисы.

ции совокупной! не говоря уже о собственно-русских, здесь появляются малороссияне, с сладостными их песнями и славными воспоминаниями". И ниже: "Но сколько мест и предметов, рассеянных по лицу земли русской остается еще для современных певцов и будущих поколений! Цветущие сады плодоносной Украины, живописные берега Днепра, Псла и других рек Малороссии... ждут своих поэтов и требуют дани от талантов отечественных".

Приехав в Петербург, Гоголь близко сошелся с Сомовым. Судя по рецензии О. Сомова на первую книгу "Вечеров"*, маститый литератор (ныне заслуженно забытый писатель) воспринял Гоголя как предсказанную им же планету.

Фантастическое в "Вечерах" соседствует и пересекается с фольклорно-сказочным. Свои повести Гоголь буквально собирает из фольклорных блоков. Этой теме посвящены десятки, если не сотни исследований. В "Пропавшей грамоте", к примеру, использована легенда о запрданной душе, за которой отправляются в ад**. В основе "Вечера накануне Ивана Купала" – предания об Иване Купала, а "Сорочинской ярмарки" – легенда о черте, выгнанном из пекла, и о поиске чертом своего имущества и т.д. Как же Гоголь распоряжался своим фольклорным хозяйством?

"На другую ночь и тащится в гости какой-нибудь приятель из болота, с рогами на голове, и давай душить за шею, когда на шее монисто, кусать за палец, когда на нем перстень, или тянуть за косу, когда вплетена в нее лента".

Даже по одному этому отрывку из "Вечера накануне Ивана Купала" видно, насколько авторская проза далека от первоисточника. Во-первых, Гоголь пользуется крупным планом (монисто на шее; лента, вплетенная в косу). Во-вторых, придает происходящему конкретно-чувственный характер. В-третьих, вводит элемент пародии ("кусать за палец, когда на нем перстень").

В каждой повести "Вечеров" взаимодействуют сразу несколько фольклорных сюжетов. Концентрация сказочного материала в них громадна. Гоголь сжимает целые сказки до раз-

* "Литературные прибавления к "Русскому инвалиду"". № 94, 1831.

** Н. Гоголь, сознательно путая фантастическое и комическое, подменяет в повести "душу" – "шапкой".

меров эпизода. В "Сорочинской ярмарке" сварливая Хивря, услышав стук в дверь, прячет кокетливого поповича на доски под потолком. Этот фрагмент — усеченный сюжет народной сказки "Поп". Кстати говоря, в сказке конкретно-чувственное начало, несмотря на игривость ситуации, полностью отсутствует. У Гоголя же оно играет не меньшую роль, чем сам сюжет: "Вот вам и приношения, Афанасий Иванович! — проговорила она, ставя на стол миски и жеманно застегивая свою как будто ненарочно расстегнувшуюся кофту, — варенички, галушечки пшеничные, пампушечки, товченнички!"

Фольклорная фантастика представлена в гоголевской прозе не только на сюжетном — самом очевидном — уровне. Вода, огонь, лес играют в "Вечерах" ту же роль, что и в фольклоре. А.Н. Афанасьев в статье "Ведуны, ведьмы, упыри и оборотни" отмечает, что в разных регионах подозреваемых в ведовстве пытали по-разному: жгли каленым железом, вешали на деревьях. В Литве колдуний приманивали на кисель, который варили на святой костельной воде. "На Украине, — пишет А.Н. Афанасьев, — до позднейшего времени узнавали ведьм по их способности держаться на воде. Когда случалось, что дождь долго не орошал полей, то поселяне приписывали его задержание злым чарам, собирались миром, схватывали заподозренных баб и водили купать на реку или в пруд. Они скручивали их веревками, привязывали им на шею тяжелые камни и затем бросали несчастных узниц в глубокие омыты: неповинные в чародействе тотчас же погружались на дно, а настоящая ведьма плавала поверх воды вместе с камнем. Первых вытаскивали с помощью веревок и отпускали на свободу; тех же, которые признаны были ведьмами, заколачивали насмерть итопили силою..."* В "Майской ночи" Гоголь, оставаясь верным украинскому обычаю, превращает ведьму в утопленницу, которая живет в пруду. В "Вечере накануне Ивана Купала" девушки бросают бессовские подарки — перстни, монисто — в воду: "бросишь в воду — плывет чертовский перстень или монисто поверх воды, и к тебе же в руки..."

Воспринимал ли Гоголь фольклор как фольклор, т.е. филологически? В известном смысле, да. В письмах он просил матер и близких присыпать ему в Петербург фольклорные ма-

* А.Н. Афанасьев. Древо жизни. М., "Современник", 1983, с. 395.

териалы. Самым внимательным образом штудирует писатель "Грамматику малороссийского наречия" Павловского. Он выписывает оттуда десятки украинских имен и, как отмечает Г.Шапиро, 136 пословиц и поговорок. Некоторые из них Гоголь использует в "Вечерах". И все же подход писателя к фольклору лишь с большими оговорками можно считать филологическим.

В двадцатых годах XIX столетия на Украине легенды, сказки, думы были еще частью живой литературы, а не только традицией. Они не нуждались в переоткрытии и возрождении, в романтизме как школе и программе*. В широком культурном смысле Гоголь был не в меньшей степени современником Ф. Рабле**, чем современником А.С. Пушкина или нашей с вами современницы, художницы-примитивистки Марии Прийманченко. Лично Гоголь, открытый сразу двум культурам — украинской и русской — выиграл на патриархальности и периферийности Малороссии, которой в империи была отведена роль провинции. То, что петербургские, озерные, иенские, гейдельбергские романтики воспринимали как фантастическое, сверхъестественное, для Гоголя было естественным, не выходящим из ряда вон, житейским. "Романтизм" ранней прозы Гоголя столь же "натурален", как и его зрелая проза, проходящая по разряду "натуральной школы". Субъект — авторское видение — не менялся. Менялся объект. Попытки же подменить субъект, самого себя, приводили Гоголя к клиническим последствиям.

Театрализация прозы, инсценировки романов и повестей — жанр уже давно узаконенный, им никого не удивишь и не возмутишь. Гоголевские "Вечера" — это, условно говоря, "произоизация" театра. Фантастическое в них носит характер водевиля.

"Боже мой! Чего только нет на этой ярмарке! Колеса, стекло, деготь, ремень, цыбуля, торговцы всякие... так, что если бы в кармане было хоть тридцать рублей, то и тогда бы не скупил всей ярмарки".

* Первый сборник стихотворений Т. Шевченко, вышедший в Петербурге в 1840 г., назывался "Кобзар", т.е. народный певец, аккомпанирующий себе на кобзэ. Трудно себе представить, чтобы одна из пушкинских книг-поэм называлась, к примеру, "Гусляр".

** См. статью "Рабле и Гоголь" в книге М. Бахтина "Вопросы литературы и эстетики". М. "Художественная литература", 1975.

Ошибиться невозможно. Это Гоголь. Но не Николай Васильевич, а Василий Афанасьевич. Цитату из отцовского водевиля "Простак, или Хитрость женщины, перехитренная солдатом", написанного по-украински, Гоголь использовал в качестве эпиграфа в "Сорочинской ярмарке". На водевилях отца Николай Гоголь не только вырос. Уже в зрелом возрасте в Петербурге он пытался осуществить их постановку. В 1918 г. юный Гоголь переезжает в Полтаву, где в течение трех лет учится в уездном училище. Именно в этот период в Полтаве открывается театр, которым руководит основоположник украинской драматургии Иван Котляревский.

"Петро! Петро! Где ты сейчас? Может, скитаешься где-то в нужде и горе и клянешь свою долю; клянешь Наталку, потому что из-за нее остался без крова; а может (плачут) забыл, что я живу на этом свете".

Пьеса Ивана Котляревского "Наталка-Полтавка" была поставлена в Полтавском театре в 1819 г. А вот Н. Гоголь, "Майская ночь": "Галю! Галю! Ты спиши или не хочешь ко мне выйти? Ты боишься, верно, чтобы нас кто ни увидел или не хочешь, может быть, показать белое лицо на холод!".

Как Василь Гоголь и Иван Котляревский, Николай Гоголь понимает слово и фразу не литературно, а сценически. Речь его персонажей рассчитана не на читательскую, а на театральную аудиторию. Потому так гулка, громозвучна, зычна гоголевская проза. В 1821 г. двенадцатилетнего Гоголя принимают в Нежинскую гимназию высших наук. Гоголь играет комические роли в школьном театре. Целое поколение нежинских гимназистов вырастает на вертепной драме, на водевилях, на пьесах И. Котляревского. Вместе с Гоголем в Нежине учились Нестор Кукольник и Евген Гребинка. Первый дебютировал в литературе драматической пьесой "Торквато Тассо" и историческими пьесами*. Второй – Гребинка – прославился баснями – жанром промежуточным, близким к драматургии – и текстами популярных романсов.

Но не только звучание, гулкость слова выдает пристрастие Н. Гоголя к театру. Ситуации, в которых оказываются его

* Судя по идиотски-напыщенным письмам и заметкам Гоголя, именно он метил в Кукольники русской литературы. К счастью для последней, природный дар перевесил природную глупость.

персонажи, тоже разворачиваются по законам классического водевиля.

"Черт между тем не на шутку разнежился у Солохи... Как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок.

Голова, стряхнув с своих капелюх снег и выпивши из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель; а увидевши свет в ее хате, завернул к ней, в намерении провести вечер с нею.

Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка.

— Спрячь меня куда-нибудь, — шептал голова. — Мне не хочется теперь встретиться с дьяком.

Солоха долго думала, куда спрятать такого плотного гостя; наконец выбрала самый большой мешок с углем; уголь высыпала в кадку, и дюжий голова влез с усами и капелюхами в мешок.

Дьяк вошел, покряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто и что он сердечно рад этому случаю погулять немного у нее и не испугался метели. Тут он подошел ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами до ее обнаженной руки и произнес с таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольствие:

— А что это у вас, великолепная Солоха? — и, сказавши это, отскочил он несколько назад.

— Как что? Рука, Осип Никифорович! — отвечала Солоха**.

— Гм! рука! хе! хе! хе! — произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате.

— А это что у вас, дражайшая Солоха? — произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукой за шею, и таким же порядком отскочив назад.

— Будто не видите, Осип Никифорович! — отвечала Солоха. Шея, а на шее монисто...

... Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и

** Кстати говоря, этот диалог Солохи и дьяка В. Шкловский приводит как пример "эротического остранения". "О теории прозы", М., "Федерация", 1929, с. 18.

голос казака Чуба... — Стучатся, ей-богу, стучатся! Ох, спрячьте меня куда-нибудь!"

Гоголевский водевиль не только динамичен и остроумен, но и фантастичен. Действующие лица то и дело меняют маски. У чертей в "Вечерах" свиные, собачьи, козлиные, дрофийные, лошадиные рыла. Ведьма в "Майской ночи" оборачивается кошкой, а после утопленницей. Другая ведьма из "Вечера накануне Ивана Купала" оборачивается черной собакой, кошкой, старухой. В "Сорочинской ярмарке" Н. Гоголь описывает танцующих старух как театральных марионеток: "Беспечные! даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами...". Некоторые описания в "Вечерах" отличимы от ремарок разве что лексической выразительностью: "Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал, слабея и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топтанье, что-то похожее на рокот моря, и вскоре все стало пусто и глухо". Театральная условность предполагает встречное усилие зрителя, а в случае Гоголя — читателя. Если это усилие не будет совершено, то добротные декорации "Вечеров" могут показаться жалким картоном, а голосистые и бойкие статисты — раскрашенными пейзанами.

Жанр — романтическая история — определяется у Гоголя не только традиционным литературно-романтическим набором чудес, но и типом рассказчика. В "Вечере накануне Ивана Купала" пасечник Рудый (т.е. рыжий) Панько читает вслух историю, некогда рассказалую дьячком Фомой Григорьевичем. Дьячок возмущенно спрашивает:

- Что вы читаете?
- Как что читаю, Фома Григорьевич? вашу быль, ваши собственные слова.

...
— Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! Бреше, сукий москаль. Так ли я говорил? Що то вже, як у кого черт-ма клепки в голови! Слушайте, я вам расскажу ее сейчас.

Дьячок, выражаясь филологически, возмущается подменой устной речи — письменной. Он не желает узнавать своих

слов не потому, что их подменили, а потому, что их перенесли из звуковой стихии в типографский стандарт. В "Вечерах" несколько рассказчиков: сам пасечник Рудый Панько, дьячок Диканьской церкви Фома Григорьевич, панич в гороховом кафтане, так и не появившийся незнакомец, который "такие выкапывает страшные истории, что волосы ходили на голове". Но все они относятся к одному и тому же типу рассказчиков. Читая — слушая — их, испытываешь соблазн дать внетекстовые дефиниции некоторым устоявшимся жанрам. Поддадимся этому соблазну.

Приходилось ли вам засиживаться допоздна, до последнего посетителя в ресторане, таверне, trattории, чтобы, переждав всех, выпить с официантом водки, раки или граппы? Нескольких междометий, сказанных под закуску и горячее, нескольких жестов хватило, чтобы вы испытали, ну, если не чувство близости, то теплоту, расположность друг к другу. Хотя бы потому, что вы друг для друга иностранцы, и чувство близости, тепла не чревато для вас обоих затяжной душноватой дружбой. За виски, орухो или коньяком он рассказывает вам, его лучшему другу, свою жизнь, свою сыновью, любовную, отцовскую драму. "Ты понимаешь, — говорит он в конце, — да это же не жизнь, а роман! Какую книгу можно написать!". Подобная ситуация, с той же заключительной фразой возможна, например, в поезде, со случайным пассажиром в роли откроенного собеседника. Антураж может меняться, обязательны лишь два условия: интимность беседы и ее случайность, неповторимость. Итак, отважимся на первую дефиницию: эпический роман — это восприятие, понимание и пересказ собственной жизни как литературного произведения.

А вот другая ситуация. Вечер. Дюжина спальных мешков. Пионерский или скаутский палаточный лагерь. Впрочем, это может быть барак каторжан или заключенных. Все, кроме одного, молчат. Один рассказывает, остальные слушают, сопререживают. Рассказ может быть пересказом Артура Конан-Дойля, Эдгара По или собственных приключений. Условие одно: речь должна идти о сверхъестественном, чего в жизни не бывает и быть не может. Попытаемся сформулировать вторую дефиницию: полет полуночной фантазии в палатке или в бараке под аккомпанемент гробовой тишины — это и есть романтическая история.

Вернемся к Гоголю. Эпического романа он так никогда и не написал. На месте откровенного официанта (пассажира) его просто невозможно представить. Не тот характер, не та натура. Предел гоголевской эпичности — поэма в прозе. При этом рассказчик он прирожденный, причем историй сверхъестественных. Так что недаром пионеры или бойскауты из интеллигентных семей рассказывают своим соузникам или сокамерникам не только о докторе Мориарти или золотом жуке, но и об утопленнице или о Вие. Что до гробовой тишины, то тут с Гоголем не так просто, как с Артуром Конан-Дойлем или Эдгаром По, ибо она то и дело дает трещины и обрушивается смехом.

В прозе Гоголя смех сводит на нет все макабрическое. Макабр пародирует сам себя, благодаря чему только набирается сил. Вот пример из "Майской ночи". Теща винокура, рассказчика, кормит свою многодетную семью галушками. Вдруг откуда ни возьмись незваный гость, незнакомец. В мгновенье ока он съедает один казан, потом другой. "А чтоб ты подавился галушками", — думает теща. Гость тотчас поперхнулся, упал и испустил дух. Но с того времени покою не было теще. Чуть только месяц, мертвец и тащится. Сидет верхом на трубу, проглатывая, и галушку держит в зубах.

В настоящем макабре все было бы всерьез. Был бы не прошенный гость, но не было бы легкомысленных галушек на столе. Скорее всего, хозяева спали бы или отходили ко сну. Был бы таинственный скрип, шорох, метались бы тени. И гостю бы дали ведерко воды, и вдруг хозяйка увидала бы в ведерке отражение дьявольских рожек, и забожилась, заверещала: "Чур меня, сила нечистая, сгинь-пропади!" Черт бы сгинул, пропал, но после каждую ночь являлся бы в дом скрипом половицы, завыванием ветра в трубе, уханьем совы, стоном заливики. У Гоголя все сведено на нет галушками. В привидение с галушкой в зубах веришь, то есть благодаря галушке веришь в привидение. Так элемент пародийности выручает, вытягивает целую литературную школу. М. Бахтин справедливо проводит параллель между Гоголем и Рабле. И тот и другой выбирают себе богов, у которых есть чувство юмора. И для Рабле и для Гоголя то, что смешно, — то возвыщенно. Гоголевские школьники-бурсаки или бродяги-дьяки вставляют в свою речь латинские выражения и слова лишь затем, чтобы продемонстрировать тя-

желый хохлацкий акцент. Серьезность неубедительна и бледна. Привидение, суть которого в бесплотности, реализуется в сознании читателя, лишь когда оно предельно плотное, осязаемое, плотское.

Публицист и писатель В.В. Розанов, проповедник семейственности и интимности, а значит, антипод Гоголя, не раз в сердцах называл автора "Вечеров" чертом, сатаной, страшным хохлом, идиотом. Благодаря этой трогательной и верной нелюбви Розанов сделал много любопытных наблюдений о гоголевской прозе. К примеру, он остроумно заметил, что лишь покойницы у Гоголя по-женски пригятательны. Розанов усматривает в этом свидетельство извращенной натуры писателя, склонность к некрофильству. Между тем объяснение здесь следует искать не психологическое, а чисто литературное, формальное*. Утопленницы и покойницы должны быть аппетитными, а живые девчата слегка эфемерными, малеванными, иначе текст перестает быть художественным. Этот принцип, который можно было бы назвать "принципом негатива", один из самых продуктивных в литературе**. Вещное, материальное входит в читательское сознание, лишь когда оно переведено в другой ряд материальности, вещности. Скажем, слово "лес" промелькнет мимо глаз, не задев, не поцарапав, не пощекотав воображения. А вот если без слова "лес" текст зашумит, закачается и вцепится в волосы ветками, то из этого леса заблудившийся читатель уже не выберется. У Гоголя прием "негатива" в самых различных модификациях встречается сплошь и рядом. Чтобы добиться присутствия снега, он пишет не о самом снеге, который можно взять в руку, а о скрыпе мороза, слышном за полверсты. Привидения же, чертей, всякую нечистую силу он материализует, овеществляет. Является ли для самого писателя то, что мы называем принципом или приемом, "приемом"? Вот отрывок из гоголевской статьи "О малороссийских песнях", свидетельствующий о вполне осознанном отношении писателя к

* А. Синявский по этому поводу замечает: "... Розанов здесь подошел не к загадке физиологии Гоголя, а к загадке гоголевского стиля и гоголевского магизма". См.: "Опавшие листья" В.В. Розанова". Париж, "Синтаксис", 1982.

** Классический пример развернутого "негатива" — повесть Г. Уэллса "Человек-невидимка". Еще один пример развернутого "негатива" — "Мертвые души".

поэтике: "Песни их почти никогда не обращаются в описательные и не занимаются долго изображением природы... Часто вместо целого внешнего находится только одна резкая черта, одна часть его. В них нигде нельзя найти подобной фразы: был вечер; но вместо этого говорится то, что бывает вечером, например:

Шли коровы из дубровы, а овечки с поля.
Выплакала кари очи, край милого стоя."

Может быть, только А.П. Чехов, спустя шестьдесят с лишним лет, дал в "Чайке" столь же внятное определение метоними: "Тригорин выработал себе приемы, ему легко... У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса – вот и лунная ночь готова..."

Собственно фантастическое, сверхъестественное обставление у Гоголя фантастическим в фигуральном смысле слова, тем, что, вульгарно говоря, принято выражать фразой "It's fantastic!"*. Гоголь чемпион русской прозы по восклицательным знакам. Тут дело не в статистике, а в том, что восклицательная интонация создает атмосферу экзальтации, наэлектризованности. Восклицательный знак, как и чудо, предполагает разинутый рот, хлопанье глазами. Гоголь "фантастичен" не только на интонационном, но и на семантическом и пунктуационном уровнях. Придуманные им словосочетания – "замысловатые девушки", "косвенными шагами пустился бежать по кругу", "сабли страшно звукнули" и т.д. – вопиюще неправильны, но органичны**. Точка, отделяющая одно предложение от другого, у Гоголя зачастую условна, фиктивна. "Какое-то странное упоительное сияние примешалось к блеску месяца... Серебряный туман пал на окрестность. Запах от цветущих яблонь и ночных цветов лился по всей земле" ("Майская ночь"). Здесь наше восприятие работает поверх точек. Глагол "лился" легко переносится с запаха яблонь на блеск месяца. А месяц перекочевывает из "Вечеров" в книги о "Вечерах": "Напев прозы Го-

* Потрясающие! (англ.)

** Этот прием "неправильных слов" довел до совершенства В. Хлебников (см. исследования В. Маркова о поэмах В. Хлебникова и доклад А. Жолковского "Графоманский стиль В. Хлебникова" на хлебниковской конференции в Амстердаме в 1985 г.).

голя, как сияние месяца, струится в многообразиях словесных вариаций" (Андрей Белый. "Мастерство Гоголя").

Время действия самой первой истории — "Сорочинской ярмарки" — полдень. Затем солнечный свет меркнет. Наступает вечер. Ночь. Над всеми прочими страницами сияет луна и звезды или нависает черное, беззвездное, безлунное небо.

"С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-дущен, и полон неги, и движет океан благоуханий... Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя".

Ночь становится не только временем, но и местом действия, если угодно, театром событий. Как и подобает месту, она ограничена в пространстве. Ее потолок — небо, ее нижний предел — земля. Есть у гоголевской ночи и задник: некая сфера, нечто вроде края земли, каковым представляли его средневековые сколасты. Не хватает — таков уж замысел творца — только стен. Но их отсутствие лишь облегчает работу сквозняка: приносить и уносить, как в театре, леших, казаков, школяров, ведьм, упырей, селян. Ткань, из которой сшила эта ночь, может быть оценена в сравнении, по контрасту. Шелк шелковист постельку, поскольку шершав шевиот. Если сравнивать украинскую ночь с персидской или турецкой, то она покажется бледнолицей, анемичной, почти лишенной запахов. Турецкая ночь бросает вызов украинской не только потому, что она звездна, пряна и бархатиста. В украинский фольклор XVI-XVII столетий на роль вражей силы, наряду с ляxами, москалями, жидами, приглашены и турки. Причем, судя по балладам и легендам, Украина и Турция схлестываются и перехлестываются не только на поле брани. Набеги и резня — не единственный способ общения двух народов. В популярном фольклорном сюжете о сестре, попавшей в турецкую неволю, парубок Иван не только бражничает с турками, но и продает им свою сестру, продает за "гроши". Попойка и торг — это форма диалога на уровне быта. Те элементы бытовой культуры Украины, которые в России чаще всего воспринимаются как типично украинские — оселедец, форма усов, казацкая одежда — заимствованы украинцами у турок. Даже эталон казацкой красоты в Запорожской Сечи не

многим отличается от турецкого*. На лингвистическом уровне Украина тоже пересекается с Востоком. Такие смачные украинские слова как бахча, килим, кавун, шаровары — персидского происхождения, кобза — музыкальный национальный символ Украины — тюркского. При этом оживленного литературного диалога — в силу многих причин — между Украиной и Турцией не завязалось. Так что гоголевская украинская ночь звездна, душиста и бархатна по контрасту с блеклой, северной, петербургской.

На контрасте этих ночей первым начал работать Пушкин. В прозе поэта ночь, как таковая, сугубо описательна:

“Погода утихла, тучи расходились, перед нами лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна”.

(“Метель”)

“... к вечеру все сладилось и пошел домой пешком, отпустив извозчика. Ночь была лунная”.

(“Гробовщик”)

“Он проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы: было без четверти три”.

(“Пиковая дама”)

Но зато в стихах Пушкин дает волю и языку и дыханию:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух.

(“Полтава”)

Гоголь не прошел мимо описания этой ночи, густо замешанной на “щ”, “з”, “ч”, “х”. Гоголевское “Знаете ли вы украинскую ночь?..” — это ответный жест. И даже гоголевское “Чуден Днепр при тихой погоде” интонационно и лексически навеяно все тем же “Тиха украинская ночь”.

Гоголь был первым украинским прозаиком, воспринимавшим язык прежде всего чувственно. Он стремится, чтобы

* О крене Украины к Востоку см., к примеру, книгу Ю. Шереха (Шевелева) “Друга черга”, “Сучасність”, 1978, стр. 372.

читатель вместе с писателем осязал, слышал, видел. "Метафизическая" прозрачность пушкинской прозы ему чужда. Апелляция к органам чувств требует предельной языковой экспрессии. Помимо украинских слов, вынесенных Гоголем в слова-рики-приложения, в гоголевском языке множество украинизмов. Русский читатель воспринимает их не столько умом, сколько прапамятью. Потому чтение Гоголя вызывает лингвистическое головокружение. Интонация, строение фраз в его прозе предполагает легочное, физиологическое сопереживание. Гоголевская проза отличается от догоголевской, как цветное кино от черно-белого. Причем цвет у Гоголя не обязательно выражается эпитетом. Слово "очи" — а "глаз" в "Вечерах" почти не встретишь — безусловно черное. Глаза с буквой "ч" посередине не могут быть другого цвета.

Новизна Гоголя, его "фантастичность" заключается в том, что он сделал русской прозе прививку украинской языковой чувственности. Дело тут не в украинских реалиях: именах, словечках, юморе, фольклоре, а в принципиальной переориентации литературного языка. Писатели-чужаки или, если угодно, приимаки, могут отблагодарить усыновившую их литературу не только тем, что приносят в нее извне. Благодаря свежему восприятию своей новой языковой родины, они порой остро видят то, что прежде, примелькавшись, никому не бросалось в глаза. Так совершаются открытия отдельных слов, интонаций, частей речи*.

Если бы Гоголь не стал языковым перебежчиком, то его проза воспринималась бы на родине тавтологически. Как-то Пушкин заметил: "От ямщика до первого поэта мы все поем уныло". В основе русского литературного мышления — идея. И чем больше лихорадит идею, тем замечательней получается проза. Порой эта идея может быть обрамлена скромным узором. Украинское литературное мышление, за редким исключением, барочно, орнаментально**. Смысл его в переплетении и ритме различных орнаментов, как во фразе о Катерине из "Страшной мести": "Незаплетенные черные косы метались по

* К примеру, поэт из Чувашии Геннадий Айги открыл для себя, а заодно и для русских читателей, змевящиеся деепричастия, шуршащие суффиксы.

** Лучший украинский поэт Василь Стефаник не барочен и не орнаментален — потому и лучший.

белой шее". Гоголь терпел поражения ("Выбранные места из переписки с друзьями"), когда изменял собственной природе и силился быть русее русских*. Отношение Гоголя к России — это типичная реакция истеричного эмигранта на заграницу. Для него туземцы — нехристи, немцы, нелюди, по-нынешнему, инопланетяне, которых и убить не грех. Гоголь так и поступает, вынося свое преступление в название "Мертвые души". После же каётся и казнит себя: сжигает вторую часть поэмы.

И в заключение о главном. Герои "Вечеров", как и подобает левобережным украинцам, одеты в шаровары. Эти шаровары, словно дирижабли, летают в воздушном пространстве ночи. Если бы Гоголь провел детство и отрочество в Западной, правобережной Украине, где в ходу узкие штаны-дудочки, то едва ли он написал бы прозу такого полета, размаха, такой объемной щедрости. На какой странице ни откроешь "Вечера", в воздухе колышутся, реют, парят, хлобыщут шаровары. Впрочем, если хорошенько приглядеться, надев на нос, по совету Рудого Панька, вместо очков колеса с комиссаровой брички, то замечаешь, что это колышется, реет, парит, хлобыщет сам ночной воздух, которым накачаны гигантского размера шаровары. Но чем глубже Гоголь укореняется в петербургскую жизнь, тем решительней перемены в гардеробе его персонажей. Шаровары, кожухи, плахты, сукни, черевики уступают место сюртукам, шинелям, вицмундирям, башмачкенным**. Но это уже иная тема, имеющая лишь косвенное отношение к молодой прозе молодого, но многообещающего автора из Малороссии.



* По А. Белому "Раздвой Гоголя — следствие его стиснутости между двумя прослойками: двух разных классов".

** Гоголь скаламбурил, подмигнул своим. Одного из главных действующих лиц в "Сорочинской ярмарке" зовут Соловий Черевик. Салоп (от фр. *salope*) — старое пальто; черевики (укр.) — башмаки, ботинки, сапожки. В "петербургских" повестях вместо салопа — шинель, а вместо Черевика — Башмачкин.

Дональд Рейфилд

БАЙРОН СЕГОДНЯ

В этом году англичане отмечают двухсотлетие со дня рождения Байрона. Однако вне юбилейных торжеств в Англии по-разительно редко упоминают этого поэта, да и вообще мало любят его стихи. Наследие Байрона осталось без наследников. И на вопрос, каковы были влияние личности и поэзии Байрона в английской культуре, приходится отвечать, что они были ничтожно малы, по крайней мере, в английской поэзии XIX века. Но даже и то влияние, которое он оказал на английский XIX век, было скорее отрицательным. Новое поколение прозаиков, таких как Теккерей и Диккенс, так же как раскаявшиеся представители старого поколения романтиков, вроде Уордсвортса, отталкивались от него, признав торжество христианства и буржуазных нравов над свободомыслием и аристократической безнравственностью. Кое-как удалось приспособить сонорную мечтательность Китса и ветреный идеализм Шелли к позднему романтизму таких поэтов, как Теннисон и Браунинг. Но Байрона лучший критик (и далеко не худший поэт) викторианцев Мэтью Арнольд обвинил в бесодержательности.

Только когда поэты стали пользоваться собственной биографией как сырьем материалом для творчества, они вернулись к Байрону. Такая смесь рассудочного хладнокровия и необузданной иррациональности впервые возникает у Оскара Уайльда и окончательно утверждается в творчестве Дэвида Херберта Лоуренса, покончив с нарративным спокойствием английской литературы. Дух изгнания, кочевничество, космополитизм и насмешливость Байрона лучше всех оценили именно те писатели, которых выгнали или вытеснили из Англии за смелое политическое или сексуальное поведение.

Английским озерным романтикам были одинаково чуж-

ды и немецкий романтизм поэмы "Манфред", и французский цинизм байроновских политических "сновидений". Между тем, словесная изобретательность, вечные поиски неожиданных рифм и новых способов повествования, дерзкая смесь остроумия и патетики — это и есть настоящий вклад Байрона в английскую поэзию. Слабые отзвуки байронизма еще заметны у Роберта Браунинга — хотя мощь образца уже недосыгаема для него, — но после Браунинга английские поэты уже не гонятся "за рифмой свою равной". Они переходят почти исключительно на белый стих. Байроновская же стихотворная техника и сегодня производит ошеломляющее впечатление, позволяющее — с поправкой на время — сравнивать его с Маяковским.

Но если наши поэты сдали в литературный музей острое байроновское новаторство, то прозаики именно у него учились искусству повествования. Как это делали, кстати, и французские романисты — от Бенжамена Констана до Андре Жида. И, возможно, личность и тематика Байрона имели в английской истории большие политические последствия, чем литературные. Не забудем, что Бенджамен Дизраэли дебютировал романами, полными точных и острых наблюдений, отразивших его собственный байронизм. Байронизм окрасил всю его политическую деятельность: тяготение к Востоку, навязчивая идея слить христианское и мусульманское начала в пределах одной империи (земной и духовной). Разве Дизраэли не осуществил в британской политике то, что Байрон зарисовал в своих "восточных поэмах"? (В России именно такой политический байронизм погубил Грибоедова и вдохновлял Константина Леонтьева).

Все-таки Байрона как властителя дум свергнули. И свергнули его очень по-английски: не полемизировали, не искаjали, не опровергали — просто делали вид, что его не существует. Поклонники Байрона до сих пор сходятся в тайных обществах. Век-полтора назад благонамеренные обыватели свергали его как аристократа и атеиста. Теперь его отвергают за нехорошее отношение к женщинам, за политические и эстетические двусмысленности. Сейчас Дон Жуана любят меньше, чем когда-либо. Особенно, если он переодевается Дон-Кихотом. И современные поэты готовы в своих стихах на что угодно, только не на ироническое отношение к себе и издевки над своим языком. Безусловно ценным в байроновском наследии признаются только его письма, обаятельные в своей простоте.

Неоспорим тот факт, что Байрон имел и имеет больший резонанс в Европе, чем у себя дома. Это особенно трудно представить себе, если учесть, в каких дурных прозаических переводах Байрон, например, дошел до Пушкина. Поток каламбуров и острот, безудержная игра ритмом, звуковая гамма — все было потеряно в передаче халтурников-переводчиков. Но сохранилась тематика: христианин, влюбляющий в себя девушку-мусульманку; клеймо Каина — бессмертие как наказание; трагедия дон-жуанизма... Клад для новых поэтов, писавших не для английских барышень, а для взрослых мыслящих людей. Еще важнее было то, что в Байроне яд подавался вместе с противоядием, и в его поэзии, пронизанной романтизмом, чуткий дух скептицизма борется с индивидуалистическим отравлением. Дуализмом байроновской романтики воспользовался Пушкин, создавший очень байроновскую поэму "Бахчисарайский фонтан", но развенчавший Онегина как москвича в гарольдовом плаще. Оскару Уайльду или Эдгару По — а их тоже полюбила Европа — везло в переводах, которые часто были лучше подлинника. Но Байрона во Франции или в России приняли не потому, что его хорошо представили переводчики, а потому, что чужие читатели и писатели нуждались в сложной байроновской свободе мысли, которой пренебрегла английская публика.

Если ли у поэзии Байрона будущее в Англии? Это зависит от того, как примет его новое поколение. То есть, во многом от того, как представляют его в английских школах. К сожалению, в английских школах классическая английская поэзия почти не затрагивается. Читают только Шекспира и некоторых современных поэтов, из числа наиболее доступных для понимания. Но даже и тридцать лет назад, когда школьная программа была щедрее, нас знакомили только с лирикой Байрона: читали про "Ассирийца", который "наступил как волк на отару", одобряли эплинизм Байрона — "острова Греции, острова Греции..." Остальное было запретной зоной, на которую я сам наткнулся почти нечаянно. И боюсь, что пока у нас против Байрона стоят феминистки, переродившиеся христиане, поборники равноправия, простоты и тривиальности в поэзии и жизни, надежным прибежищем байроновского слова будут оставаться те страны, которые давно приняли его и впитали в состав своей культуры.



КОРЕНЬ НИЗКОПОКЛОНСТВА

Когда Александр Великий покорял Персию, его свободолюбивые македонцы едва не взбунтовались из-за введенного при дворе нового обычая воздавать царю честь земным поклоном.

Почтительный персидский этот жест по-гречески называется "проскинесис", что можно перевести двояко: "простирание" или "пресмыкание", смотря по тому, поставить акцент на исходную позицию, как в первом случае, или на способ дальнейшего продвижения, как во втором. Правильный проскинесис состоит в том, что лицо, возымевшее свое намерение, изгибается вперед к полу, падает на колени, простирается грудью и животом так, чтобы упереться внизу ладонями и локтями, и кладет опущенную голову на тыльные стороны рук. Затем, с глазами по-прежнему вниз и попеременно переставляя то левые, то правые передние и задние конечности, оно иноходью приближается к стопам намеченной персоны и здесь выжидает, пока та ему вымолвит какую-нибудь милость. Очень важно, чтобы крестец все это время был как можно выше макушки.

Сатирики ябедничали, будто обычай восточных дворов требовал от героев проскинесиса, чтобы эти поползни еще и лизали ковер по пути от дверей к ступеням трона. Один даже донес, что дорогу иногда посыпали толченым ядом для подавших под неудовольствие министров или лакомыми пудрами для фаворитов. Все это, разумеется, сплетни постороннего взгляда, злые преувеличения. Если случаи удобрения траектории и имели место в действительности, то лишь в качестве отдельных эпизодов. Смысл обряда не в том. Речь у нас не об экзотическом местном правиле, а об одном из коренных и всеобщих установлений.

Ученые, исследовавшие общественную структуру павианьего стада, давно заметили, что вертикальные отношения здесь выявляются путем точно такого же проскинессиса. Младшая обезьяна подползает к владычествующему самцу, задравши зад и отставляя хвост. И, независимо от пола члена общины, ее пастырь может воспользоваться предложенной позой покорности в самых гнусных видах. Телодвижения любви совершаются ради иерархического самоутверждения, а не в интересах продолжения рода уже у павианов, на примере которых мы видим, как эрос и статус могут совпадать в своей зримой кинетике.

Указание на такую возможность, несомненно, имеется и в человеческом проскинессисе. Подверженное лицо говорит этим жестом:

— Воздороженный Владыка! Делай, Обожаемый, со мной все, что только душе Твоей заблагорассудится.

Недаром древние иудеи никому, кроме Господа, подобной почести не воздавали, откуда и заповедь:

"Господу Единому поклоняйся и Ему Одному служи".

О ЗАБЫВЧИВОСТИ БОКАЧЧО

На мысль о проскинессисе навели меня, однако, не отчеты зоопсихологов и не опыты журнальных эссеистов, у которых в обычай быть земные поклоны перед вожатыми самцами из своих фракций и скалить павианьи бивни при виде чужаков. Нет, я вспомнил об этом телодвижении, читая раз про Бокаччо, будто он ничем потусторонним не интересовался, а живописал забавные нравы, передавал житейские слухи да истории из былых времен — и только.

Такому мнению, казалось бы, противоречит фон "Декамерона" — та картина страшной чумы, ужас перед которой загнал рассказчиков в тесные кельи любовных сюжетов. Однако, тон новелл, в свою очередь, противоречит противоречию, ибо в нем отсутствует потусторонняя замогильная серьезность, испускаемая робкими из нас навстречу всему тому, что может считаться вечным и окончательным, как-то: смерть, мир иной и особое знание. И вот, перебирая между фоном и тоном, я все сомневался, кто же такой Бокаччо — легкий забавник или

глубинный мудрец, выплясывающий под маской комедианта.

Тут я вспомнил про девушку Алибек, которую учили загонять дьявола в ад. Игравая история в десятой новелле Третьего дня и в наше время служит молодым людям вместо руководства по биомеханике и приоткрывает им дверцу в Храм Любви. Забудут 99 новелл из ста, и с ними картину заразы, но о том, как загоняли отца Гордыни в отведенное ему место — не забывают. Неудивительно, что я припомнил эту Алибек. Но если в юности все в ней казалось мне прозрачным и ясным, то сейчас вопросы вставали один за другим.

Прежде всего, почему девушку зовут не по-девичьи?

Али-бек ведь имя мужское, тюркское. Женское было бы "-бегичи" — "Али-бегичи", да и вряд ли "Али-", уж скорее "Фатьма".

Дело было в Капсе, южней Карфагена, в эпоху, когда в Тунисе не слыхивали не только о турках, но и об арабах. Там жили только христиане с язычниками.

Итак, ни то ни другое не подходит под обстоятельства: ни девушка, ни Алибек.

Далее.

Как ни смехотворна наивность невинности, но теория Рустико о том, что его пест есть дьявол, а ее ступка — предназначенный дьяволу ад, глубока и солидна. В ней слышится回音 "Изумрудной Скрижали": Что вверху, то и внизу.

Этот пустынnyй наставник Рустико — Мужик, Невежда, Темный, — учивший о соответствии частей тела космическим начальникам, был даже слишком начитан.

Кто бы ни была наша мнимая Алибек, некое особое знание в келье Темного она все же приобрела. Но она искала в пустыне спасения. И тут оказывается, что спасение зависит — как это обычно у гностиков — от посвящения в знание. Вспомним поэтому ход посвящения.

"И тут Темный разделся догола, и его примеру последовала девушка. Потом он встал на колени, словно хотел помочиться..."

Итак, он совершил проскинесис. Перед нами ритуальный поступок, совершенно не имеющий смысла, если принять, что Темным двигала простая похоть. Нагота не должна толковаться здесь ни грубо, ни функционально, но как полная готовность принять откровение от высших начал. Любовь же между

учеником и преподавателем только завершила и увенчала акт обретения спасительного введения и вхождения в новый свет.

Тот, кто давно не перечитывал эту историю, вряд ли помнит имя супруга просвещенной Алибек. Это был Неербал, "Владыка Светозарный" в переводе с пунийского, или "Люцифер" по-латыни.

Как и Темный, имя "Светозарный" стоит в сплетении с кругом гностических идей, указывая на свет, как на сущность знания. Совершив проскинесис, Алибек получила от Темного посвящение и вошла во свет истины и любви в союзе со Светозарным. Рустико и Неербал — одно лицо. Боккаччо просто забыл изменить его второе имя.

Вообще, все имена здесь когда-то были пунийские. Рустико звали Бор или Бур, с которым в пунийском, как и в латыни, соединены идеи сельской жизни, темноты и невежества. Что же до имени Алибек, которое теперь уже невозможно трактовать как соединение четвертого халифа (Али) с турецким титулом "бек", то ему следует вернуть исходную форму. Это Элубэк — "Бог мой знает". Оно компактно примыкает к Темному и к Светозарному.

К тому же кругу мысли относится и описанное в новелле совпадение. Пока Элубэк совершал в пустыне подвиги — простирался, пресмыкался и клал земные поклоны, пожар в родном доме сделал его наследником неисчислимых богатств. Вспомним, как Сатана, искушая Христа — также в пустыне, — предлагал Ему все царства земные в обмен на простой проскинесис.

Отныне сторонникам взгляда на нашего автора как на забавного рассказчика — если они пожелают сохранить свои теории в неприкосновенности — остается только исключить историю Элубэка из корпуса. Чтобы заполнить пустое место, я предложил бы им другую новеллу. Она и попроще, а говорится в ней и про ад, и про любовь, и даже проскинесис подразумевается.

ВСТАВНАЯ НОВЕЛЛА

Жили в каталанском городе, в славной Барселоне, дон Хиндиньо и донья Веруха, он родом из Феррары, она же из Пизы или из Пистойи — не так важно.

На родине дон Хиндиньо звался, по правде говоря, Джиндини и в Каталонии слыл ломбардом, ибо занят был тем, чем знамениты ломбарды за пределами долины речки По, а именно он ссужал деньги в рост под залог. А отец донни Верухи был лекарь, эскулапова отрасль, от той ее ветви, которая следует учению о равновесии жидкых токов и тщится искоренить любой недуг, добавляя к стихиям в теле больного побольше воды или, напротив, отводя ее избытки.

Особенно привержен был наш гидропат к промываниям. Он пользовался для этой процедуры особым сосудом вроде небольшого меха с гладким костяным наконечником и извилистой кишкой, изобретенным в Ионийской Клисме и названным по имени местности, где был придуман, Клисмийской Клепсидрой или, попросту, клизмой. Клисма же эта расположена на взморье Азиатского материка прямо напротив острова Кос, родины великого Гиппократа.

Так вот, все болезни отец донни Верухи лечил при помощи своего водяного насоса.

— Клизма, дочь моя, — если бы не она, что стало бы с нами? — говаривал врачеватель, к услугам которого вынужден был частенько прибегать и дон Хиндиньо, страдавший болезнью скупердяев — возвратным запором.

Ибо, по свидетельству авторитетов, все наши недомогания коренятся в порочном составе души. Потому-то расточители мучаются недержанием мочи, а скряги — недугом дона Хиндиньо. Ведь подобные души руководят телом во имя всяческого удержания своего добра, отсюда и случай.

По прошествии нескольких лет самого лекаря схватило трясение рук, как это бывает со старыми шарлатанами, и удерживать пальцами свой гидравлический инструмент он уже был более не в состоянии. А тут как раз зовут его к дону Хиндиньо.

— Бери, дочка, Клисмийский Фонтан и пошли. Дело не девичье, да иначе не вывернемся.

И вот, преодолевая, по первости, стыд, оказала она дону Хиндиньо отцовскую любезность, и было так не раз и не два.

Со временем донья Веруха не только утратила свойственную ее нежному возрасту и слабому полу застенчивость, но даже привязалась к скопидому всем сердцем, с нетерпением ждала следующего раза и бегала туда, подчас, вовсе без надобности. В конце концов она в него влюбилась, размечталась, как

выйдет за богатого замуж и заживет с ним по-своему. Но не тут-то было.

У доньи Верухи умирает ее отец, дон Веруха.

Отходив положенный траур, является осиротевшая дочь врача к дверям возлюбленного со своим сифоном, а оттуда выходит молодой красавец медик-марран дон Фернандо Изабель де Крузадо-и-Тринидад, имея в руках точно такой же меандр. Та преисполняется ревностью, неистовым бешенством оскорбленного влечения, рухнувших мечтаний и планов. Она бежит в Святой Трибунал и доносит, что дон Хиндиньо еретик, якшается с мурунами, берет лихву, алхимик, содомит, звездопоклонник, некромант, фальшивомонетчик, растлевает младенцев, живет со старой монахиней и не принадлежит к истинной вере. Нагородила груду повыше, чем целый собор епископов в Констанце, когда объявлял о низложении Иоанна Двадцать Третьего из антиапа.

Трибунал берется за дона Хиндиньо.

— Веришь ли ты, что только покаяние может спасти твою погрязшую душу из сетей золотого тельца?

— Всем сердцем стараюсь...

— И не лицемеришь?

— Как могу, пытаюсь...

— Хорошо сказано! А готов ли ты покаяться?

— Каюсь... — с готовностью отвечает дон Хиндиньо.

— А понимаешь ли ты, что слова твоего покаяния должны быть также зrimы, весомы и ощущимы?

Любой поймет...

Короче говоря, не ушел он из Трибунала, пока не раскаялся во всех своих прегрешениях вплоть до последней неправедно нажитой монеты. А как денег другой породы у него и не водилось, то выкарабкался он из допросных комнат, словно из материнского лона — такой же богатый.

По этой причине душа его, отторгнутая от источника подвижной силы и возмущенная лишением питательного блеска, который исходит из сердца благородных металлов, как бы сжалась и наотрез отказалась сообщаться с кишечным трактом. Тут его совсем затормозило, и злосчастный Хиндиньо в быстрых муках скончался.

Является душа дона Хиндиньо в ад, перед грозные очи судьи Миноса с полным и хорошо обоснованным неудовольствием.

— Да ты же лихоимец! — грозит ему Минос. — Сядешь до скончания времен в собственном золоте по глотку.

— У меня этого добра и так по глотку, — по справедливо-сти возражает дон Хиндиньо, — меж тем, как я живьем вернул им все, что имел.

— А ведь верно. Ну, подожди.

Ждать дону Хиндиньо пришлось лет тридцать, пока не умерла естественной смертью донья Веруха, и душа ее, конечно, направилась прямо в преисподнюю.

Едва завидев робко приближающуюся донью Веруху, Минос накидывается на нее с бранью.

— Доносчица, облыжница, оговорщица, клеветница, душегубица, человеконенавистница, лжица, мужеложица, поклепщица, разведчица, наводчица, наветчица, грязная стукачиха!

Она рыдает и объясняется:

— Я же так его любила!

— Любила?! — ревет Минос, и глаза у него на лоб лезут.

— Ах ты Иуда Искариотская! Идешь по особому параграфу: "С любимым — навеки вместе".

Потрясенная донья Веруха падает замертво, а очнувшись обнаруживает себя клизмой в заднице дона Хиндиньо, отчего ему-то вышло, наконец, обещанное облегчение, чего о ней не скажешь.

С тем вышел и урок любому, кто думает исправить нравы путем доносов, а не посредством кратких увещеваний.

От этого примера возникла на земле поговорка:

Кого любовь соединила,
Того не разлучит и ад.

А Минос, чуть услышит, ухмыляется:

— Что верно, то верно. Тут у меня обручальные кольца своего закала. Разводов не признаем.

Если же кто хочет знать, чем заняты в аду молодцы из Святого Трибунала, пусть возьмет в соображение, что у гидропатов и в преисподней вода — обычное средство, а наши ребята растворяются в ней там почище каустической соды. Тоже и на таможнях.



В. Иофе

БЛАГАЯ ВЕСТЬ ЛЕСОВ

Имеет смысл разобраться в литературной флоре отечественной словесности. Растительность — куст, дерево — слишком важные факторы человеческого мировосприятия, и появление их в текстах почти никогда не бывает нейтральным. Прямо или косвенно они связаны с великим образом мирового дерева, и отношение к дереву обычно несет в подтексте отношение к теме жизни и, что особенно значимо, к теме вечности жизни.

Если обратиться к русской поэзии XIX-XX веков, то первое, что бросается в глаза, это нестабильность ботанического инвентаря. Любимыми и предпочтительными в разное время оказываются разные деревья, при этом сразу же можно отметить, что с реальным набором деревьев севера и средней полосы эта литературная флора соотносится мало. Так, самое распространенное дерево страны, лиственница, в литературе практически не обнаруживается, вездесущую ольху заметило лишь считанное количество авторов, осина как была, так и осталась почти полным изгоем. Но совершенно явно дуб, клен, вяз, липа, яблоня, царившие в произведениях поэзии и прозы XIX века, в XX ушли почти безвозвратно (как и заемные лавры и мирты) и редко-редко встречаются среди литературного пейзажа. В то же время ель и сосна, аутсайдеры XIX века, нынче становятся все более и более популярными. В целом можно сформулировать как общую закономерность: для XIX века характерны симпатии к лиственным и антипатия к хвойным, XX же век все более и более симпатизирует хвойным. И здесь

дело даже не в частоте словоупотребления, хотя и она вполне впечатляет, сколько в изменении самого отношения к тому или иному дереву.

Сразу же сделаем одну оговорку, единственное исключение — береза, из бедной приживалки XIX века превратившаяся в любимицу национальной культуры и нагружаемая ныне весьма возвышенными чувствами. Но о ней позже.

В подтверждение несколько примеров:

Фет:

Средь кленов девственных и плачущих берез
Я видеть не могу надменных этих сосен:
Они смущают рой живых и сладких грез,
И трезвый вид мне их несносен.

В кругу воскреснувших соседей лишь оне
Не знают трепета, не шепчут, не вздыхают
И, неизменные, ликующей весне
Пору зимы напоминают.

Когда уронит лес последний лист сухой
И, смолкнув, станет ждать весны и возрожденья,
Оне останутся холодною красой
Пугать иные поколенья.

Тютчев:

Пусть сосны и ели
Всю зиму торчат,
В снега и метели,
Закутавшись, спят.
Их тощая зелень,
Как иглы ежа,
Хоть ввек не желтеет,
Но ввек не свежа.

Возникает естественный и неизбежный вопрос: как относился к хвойным Пушкин? Ответ, оказывается, прост — как и должно национальному гению, провидчески. Действительно, хотя в стихах Пушкина ни ель, ни сосна в положительном смысле, как правило, не встречаются, но в конце жизни, в стихотворении, где поэт задумывается о будущем, о грядущих поколени-

ях, он соотносит их именно с молодой сосновой порослью и к ней он обращается с известными словами: "Здравствуй, племя, младое, незнакомое! Не я увижу твой могучий поздний возраст..." Это тем более удивительно, что, скажем, такой глубокий современник Пушкина, как Баратынский, понимал дело вполне традиционно для своего времени.

Баратынский:

В весенний ясный день я сам, друзья мои,
У брега на сажу лесок уединенный,
И липу свежую и тополь осребренный,
В тени их отдохнет мой правнук молодой.

1821

Что же сказало "племя младое, незнакомое"? Под какими деревьями оно предпочло отдыхать?

Блок:

Моя душа проста. Соленый ветер
Морей и смольный дух сосны
Ее питал...

Ахматова:

Для меня комаровские сосны
На своих языках говорят
И совсем как отдельные весны
В лужах, выпивших небо, — стоят.

К. Некрасова:

Я долго жить должна —
Я часть Руси.
Ручьи сосновых смол —
В моей крови.

Окуджава:

От сосен свет целебный,
От неба запах хлебный.

Кушнер:

За то, что ель зимой так чудно зелена,
Люблю понурую, — опережая сроки,

Твердит, что вечная нам предстоит весна.
Твердит, что вечная... Рукою ветвь заденешь,
Как будто частую погладишь бахрому.
Люблю колючую, ей как-то больше веришь:
Ведь если колется, то лгать ей ни к чему?

Пастернак:

И вот, бессмертные на время,
Мы к лицу сосен причтены
И от болезней, эпидемий
И смерти освобождены.

~*~

Будущего недостаточно.
Старого, нового мало.
Надо, чтоб елкою святочной
Вечность средь комнаты стала.

Дело оказывается нешуточным. Явная и совершенно бессознательная перемена симпатий в отношении хвойных и лиственных может означать только одно: на пороге XX века произошла перемена установки в отношении вечной жизни, бессмертия и воскресения. Выразить это можно так: в XIX веке бессмертие соотносилось со смертью и новым рождением, воскresением, воспринимаемых в категориях чуда, отсюда повышенное внимание к великим драмам осени и весны.

Тютчев:

Весна... она о вас не знает,
О вас, о горе и о зле;
Бессмертьем взор ее сияет,
И ни морщины на челе.

XX же век все больше связывает бессмертье с вечнозеленостью как таковой, с темой бесконечного продления наличного существования. Хвойные в русской поэзии XX века являются образ тела бессмертия, вырванного из антиномий бытия, из драмы жизни. Самоидентификация со хвойными, столь настойчиво звучащая, без сомнения свидетельствует о значительных переменах и трансформации религиозного сознания. Интересно,

что при этом происходит десакрализация лиственных, они перестают быть причастными к благодати неба, а скорее противостоят ей.

Пастернак:

Искрепан весь ливень вечерний
Садами...

...

Там мир заключен. И как Каин,
Там заштемпелеван теплом
Окраин, забыт, и охаян,
И высмеян листьями гром.

...

О, место свиданья малины с грозой,
Где, в тучи рогами лишайника тычашь,
Горят, одуряя наш мозг молодой,
Лиловые топи угасших язычеств.

Бродский:

ШИПОВНИК В АПРЕЛЕ

Он корни запустил в свои
же листья, адово исчадье,
храм на крови.
Не воскрешенье, но и
не непорочное зачатье,
не плод любви.

...

И все ж умение куста
свой прах преобразить в горнило,
загнать в нутро
способно разомкнуть уста
любые. Отыскать чернила.
И взять перо.

Такой путь развития, по-видимому, специфичен именно для русской поэзии XX века. Отметим лишь мимоходом, что англосаксонской, например, литературе этого же периода избегание жизненной драмы, уход от нее, представляются неприемлемыми.

Йитс:

Там дерево от верха все горит,
В полдерева огонь, но зелена
И вся в росе и свежа часть другая;
Две доли есть, и сцена тем полна,
Они, что породят, то пожирают,
А между ними Аттис — он, она;
Так яр огонь, слеп лист, им знанья нет
Его души, да он не знает бед.

Появляющийся здесь образ бесполого Аттиса далеко не случаен. Сейчас мы к нему и подойдем.

Обращает на себя внимание то, что оба дерева — фаворита отечественной поэзии — и ель, и сосна — женского рода. Заметим, что не менее венчозеленые кедр или можжевельник никакой литературной карьеры в отечественной словесности не сделали, значит дело именно в их роде. Ель издавна и традиционно связывают с началом женским, материнским и родовым (хотя бы в традиции рождественско-новогодней елки, традиции, восходящей всего лишь к XVIII веку, но определенно связывающей ель с образом мирового дерева), пол же сосны не так очевиден. Тут уместно вспомнить сохраненную Лермонтовым любовь пары сосна—пальма в его переводе "На севере диком", что было бы невозможно при восприятии сосны как чисто женского образа. Но при этом пол ее явно не мужской. И мы сразу же можем зафиксировать, что одной из примет нового религиозного сознания является устранение мужского начала.

Кто же тогда сосна? Если обратиться к истории мировой культуры, мы увидим, что сосна особо соотносится с культурами Кибелы и Аттиса и, в меньшей степени, Исиды и Осириса, с культурами, в которых ее почитали как дерево священное, а в культе Аттиса сосна была основным объектом поклонения. Во фригийском варианте всемирного мифа о Великой Матери (принятом также у римлян) Аттис, который выступает в качестве сына-возлюбленного Великой богини, в экстазе любовной страсти оскопляет себя и вешается на сосне, которая и становится его воплощением. Сосну почитали и в культе Осириса, в котором также присутствует тема оскопления. (Во всех иных вариантах мифа: в культурах Таммуза и Иштар, Адониса и Афро-

диты отсутствуют и тема оскопления и почитание сосны). Таким образом, в этих великих древних мифах сосна определенно связывалась с темами оскопления, самоубийства и соединения с Великой Матерью (с Матерью-землей).

Этот отдаленный, казалось бы, для нашего сознания сюжет (хотя уже настораживает Йитс) находит неожиданное и знаменательное отражение в отечественной культуре. В 1918 году А. Блок, работая над статьей "Заговор Каталины", обратился к стародавним событиям римской истории для того, чтобы понять исторические корни современных ему катаклизмов, и, напряженно вслушиваясь в ритмы и музыку времени, неожиданно для себя пришел к заключению о том, что суть происходящего в России лучше всего выражает известное LXIII стихотворение Катулла, обычно считающееся стоящим несколько отдельно в творчестве великого римского поэта. 27 апреля 1918 года Блок даже делает запись в дневнике: "Вдруг к вечеру осеняет – (63-е стихотворение Катулла – ключ ко всему)". Следует отметить, что из дневниковой записи 04.10.1912 мы знаем, что на это стихотворение в свое время обратил внимание Блока человек с величайшей чуткостью к музыке времени – М. Волошин. 63-е стихотворение Катулла называется "Аттис":

По морям промчался Аттис на летучем, легком челне,
Поспешил проворным бегом в ту ли глуши фригийских
лесов...

Стихотворение посвящено описанию священного безумия самозабвенного порыва к соединению с богиней-матерью и позднего раскаяния Аттиса наутро после самооскопления. Все оно наполнено ужасом перед страшными тайнами богини и перед ее могуществом, ужасом страшной судьбы Аттиса: "Там служанкой прожил Аттис до конца безрадостных дней". В культе Аттиса оргиастическое соединение с матерью (что Катулл передает своими галлиями) странным образом сочетается с аскетическим самоограничением, с попыткой упорядочения природной стихии, с уходом от принятия жизни в ее противоречивости, в материнские объятия Кибелы. Имея все это в виду и принимая свидетельства Блока (и, по-видимому, Волошина) о соотнесенности этого мифа с событиями 10-х годов, факт восхождения сосны на культурном горизонте времени уже не по-

кажется нам странным. Тогда, если образ ели в этом контексте оправданно можно воспринимать несущим тему вечно-женского, матери-природы в ее наличном бессмертии, то образ сосны окажется связанным с темой мужского, лишенного пола и земляной плотскости в регрессивном (или вознесенном) соединении с вечным материнским началом и, тем самым, ушедшим за пределы смерти-рождения, за пределы жизненной антиномии.

Вторая важная тема, обращающая наше внимание, судьба березы. Тут прежде всего следует отметить, что в народном сознании, в фольклоре береза почиталась и входила в обряды специфически девичьи, как воплощение девичьего начала, воспринимаемого в отчетливой оппозиции к началам мужскому и женскому (бабьему): "Не радуйся ни кленье-дубье, только радуйся белая береза, белая береза, горькая осина, идут к тебе девки красные... несут тебе горелку горькую, скрипку звонкую, яищю смачную". Или же так: "Вы, бабы, дуры! Всю зиму прядете, а всю весну ткете, неодеты живете! Я ли береза, я ли кудрява, ни тку, ни пряду, хорошо хожу... мне свекровь не матушка, мне свекор не батюшка..." Календарный интервал девичьих обрядов (кумление, поедание под березой яичницы с питьем водки, гаданием и хороводами) четко обозначен: "А Дух с Тройцем – то и сбор девкам, а святой Илья – то разгон девкам!" Среди персонажей этого цикла, соотносящихся с березой, следует отметить кукушку и русалок, существа максимально антисемейные. Таким образом, в народном сознании береза соответствует образу девичества с доминирующими темами разгульности и самохвальства, по-видимому, необходимыми и неизбежными на некотором кратком этапе становления женского самосознания, проживаемом в период весны и раннего лета, незадолго перед началом созревания и плодоношения.

В дворянской же поэзии XIX века береза предстает как дерево "низкого" ряда, как дерево простонародное. Ей обычно сопутствуют чувства грусти, печали, тоски и даже мертвленности, но именно из-за связи со значениями печали и смерти береза начинает использоваться в качестве носительницы темы России со специфическим оттенком ее бедности и скучности.

Вяземский:

Средь избранных дерев береза
Непоэтически глядит;

Но в ней – душа родная проза
Живым наречьем говорит.

Лермонтов:

Печален степи вид...
И где кругом, как зорко ни смотри,
Встречает взгляд березы две иль три,
Которые под синеватой мглой
Чернеют (! – В.И.) вечером в дали пустой.

Тютчев:

Лишь кой-где бледные березы,
Кустарник мелкий, мох седой,
Как лихорадочные грезы,
Смущают мертвенный покой.

Фет:

Березы севера мне милы, —
Их грустный, опущенный вид,
Как речь безмолвная могилы,
Горячку сердца холодит.

Массовое вторжение березы в литературу начинается с 20-х годов XX века, а именно, с Есенина, и это нужно проследить более внимательно. В поэзии Есенина обе темы березы: тема девичества с пафосом разгульности и бесплодия, характерная для поэзии народной, и тема печали и смерти, характерная для поэзии дворянской, городской, встречаются и начинают взаимодействовать и усиливать друг друга.

Тема разгульности:

Греет кровь мою легкий мороз!
Так и хочется к телу прижать
Обнаженные груди берез.

...

Я сегодня влюблён в этот вечер,
Близок сердцу желтеющий дол.
Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на березке подол.

...

Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым,
И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал березку.

Тема смерти:

Смешная жизнь, смешной разлад.
Так было и так будет после.
Как кладбище, усеян сад
В берез изглоданные кости.

...

Снежная равнина, белая луна,
Саваном покрыта наша сторона.
И березы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?

И, наконец, обе эти темы, тема разгула и тема смерти, обреченности смыкаются (может быть, во взаимокомпенсации, как учит психология), и береза, как символ этого единства, начинает воплощать тот образ России, для которого важны именно эти темы:

Страшный, чудный звон.
В деревьях березь, в цветье – подснежник.
Откуда закатился он,
Тебя встревоживший мятежник?
(“Ленин”, отрывок из поэмы “Гуляй-поле”)

О, РОДИНА!

...
Отчаянный, веселый,
Но весь в тебя я, мать.
В училище разгула
Крепил я плоть и ум.
С березового гула
Растет твой вешний шум.
Люблю твои пороки,
И пьянство, и разбой,
И утром на востоке

Терять тебя, звездой.
И всю тебя, как знаю,
Хочу измять и взять,
И горько проклинаю
За то, что ты мне мать.

1917

Здесь Великая Мать возникает уже в образе Матери-Родины, раскрывающемся одновременно в темах материнства, девичества ("березового гула") и прельстительной женственности ("утренней звезды" — Венеры) — зримое видение Аттиса в канун самооскопления и соединения с великой женской стихией.

После Есенина береза, как главное символическое дерево России, прочно обосновывается в поэтическом пейзаже русской поэзии, и хотя главные драматические обертоны этой темы, столь явственные у Есенина, слышны обычно более глоухо и скрытно, на фоне славословий березе у наиболее чутких авторов они все равно звучат.

Н. Рубцов:

В светлый вечер под музыку Грига
В тихой роще больничных берез
Я бы умер, наверно, без крика,
Но не смог бы, наверно, без слез.

К середине XX века древесный пантеон отечественной поэзии вполне стабилизировался и, с одной стороны, сосна, а с другой — ель и береза занимают в нем вполне определенные места, причем ель и береза, воплощающие разные аспекты Великой богини, иногда в рядовой женской поэзии даже прозревают в своем единстве.

Е. Вечтомова:

Растут, не расставаясь, прочно
Береза с елью сплетены.
Как будто общий корень в почве
И общие над ними сны.

Как же нам следует все это понимать? Разумеется, прежде

всего как инфантильную деградацию мужского в осколении и потере мужественности, и женского – в регрессии к образу “вечной девочки” в ее разгульности и бесплодии. Но при этом все-таки не забудем и иную возможность, возможность трансформации мужского в просветление и освобождение от плотской и трансформации женского за счет обретения лица (вместо потери его в браке в традиционной культуре), личностности, что, безусловно, связано с подъемом на небосклоне времени женской темы и женской проблемы. Реально ли это? Будем верить, что деревья растут вверх.

Но не забудем и то, что благословение деревья все-таки получают свыше. И тут поверим М.Цветаевой, последнему страстному поэту лиственной темы, вопреки духу своего века отстаивавшей и развивавшей “лиственное” мышление.

М.Цветаева:

Каким наитием,
Какими истинами,
О чем шумите вы,
Разливы лиственные?

Какой неистовой
Сивиллы таинствами –
О чем шумите вы,
О чем беспамятствуете?

Что в вашем веянье?
Но знаю – лечите
Обиду Времени
Прохладой Вечности.

Для Цветаевой деревья – это почти невыразимая встреча земного со светом. И осень лиственных для нее не столько обещание весеннего зеленого возрождения, сколько открывающаяся в последней наготе осеннего леса, в умирании тайна соединения:

Осенняя седость.
Ты Гетеевский апофеоз!
Здесь многое спелось,
А сще больше – расплелось.

Так светят седины:
Так древние главы семьи –
Последнего сына,
Последнейшего из семи –

В последние двери –
Простертым свечением рук...
(Я краске не верю!
Здесь пурпур – последний из слуг!)

...Уже и не светом:
Каким-то свеченьем светясь...
Не в этом, не в этом
ли – и обрывается связь.

Так светят пустыни.
И – больше сказав, чем могла:
Пески Палестины.
Элизиума купола...

Здесь явственно угадывается тема возвращения блудного сына, что позволяет надеяться на возвращение лиственной темы в наши литературные пределы в более или менее отдаленном будущем, на возвращение, по-видимому, обогащенное какими-то новыми прозрениями и пониманиями, и на этой оптимистической ноте мы и завершим наше краткое рассмотрение.

В издательстве "СИНТАКСИС"
выходит:

АБРАМ ТЕРЦ

ПРОГУЛКИ С ПУШКИНЫМ

Третье издание

А. Волохонский

**ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА "СИНТАКСИС"
В ОТВЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗАНЯТЬСЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.**

ИЗ АНКЕТЫ

— Почему я, Мария Васильевна, нынешних книг не читаю?
Да начать хоть с того, что я, Марья Васильевна, крыс не люблю.
То ли дело ворона! Ворон с наслажденьем я в небе считаю,
Если ж нету ворон, просто в небо смотрю и терплю.

Разумеется, вставши судьей в знаменитую позу
Или в мантию кутаясь как поседелый павлин,
Я бы мог обличить нашу — скажем, шерстистую — прозу
За ее плюнуть форму и смысла неправильный блин.

И изречь, вереща с унизительной этой ступеньки,
Что на деготь выменивать хвойное мыло пеньки
Лиши достойно, когда во служение, на четвереньки —
Но увы, нелегко мне влезать на такие пеньки.

Нет, о Марья Васильевна! Я далеко не Белинский:
Где мне чавкать в кормушке гражданственных нравов и прав —
Я безнравственный сам, дуб в зенице моей — исполинский,
Кто ж тут будет пылить из чужих-то опилок собрав?

Оттого мне брезгливо и тронуть провисшее вымя
У старателей истин, к дракону червивой змеей
Пресмыкаемых ввысь, чтоб усвоить рептилии имя,
Спрятав поротый зад под павлиньим нарядом у ёй.

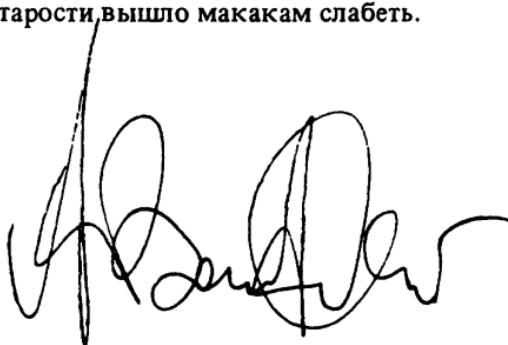
И смешны, разумеется, мне идиотские детские басни
Будто автор – пропеллером в самой опоре хребта –
Орошают анютиных грядок народные квасни
В рот набрав содерхимое дна из ведра решета.

Я к народу – ни-ни, я в народах, увы, не уверен:
Я заметил, что в каждом из них эталон красоты –
Это в тайне им служащий гладкий ухоженный мерин,
Как читаю: "народ" – так и вижу родные черты...

Бог Словесности в Индии, знаете, звался Ганеша –
С головою слона, выступая на мыши верхом,
Он судил да рядил, и народ его славил – конечно,
По причине ушей и хвоста и за хобот с подбитым клыком.

Впрочем, все это мифы – вранье и махание млинов
Тут и ступку и пест измололи успеть жернова
Скучно мне пресмыкаться меж наших бесцветных павлинов
И, пустая пустя, мне все ж дороже своя голова.

Много по миру мнений, а я – ничего не считаю
И довольно и полно мне попусту праздно галдеть:
– Потому-то я, Марья Васильевна, нынешних книг не читаю,
Что очками на старости вышло макакам слабеть.





Editions
ATHENEUM

10 bis, rue Duheste 75018 Paris
Tél. : 42.62.14.21

предлагает новую книгу:

Т.А. Аксакова-Сиверс. СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА. В двух томах.
380 + 360 с.

Предлагаемая читателю книга воспоминаний необычна. Интерес к отечественному прошлому породил целое море мемуарной литературы, едва ли не основная черта которой — отражение сопричастности автора Истории: его встречи с «великими» людьми и восприятие им «эпохальных» событий. На этом фоне предлагаемые воспоминания выделяются уже своим жанром: это — семейная хроника, с ее сознательной «узостью взгляда», с подчеркнутым вниманием к повседневности, к деталям быта, к подробностям взаимоотношений, особым эмпиризмом повествования. Трагедийный характер придает рассказу сама эпоха, ломающая судьбы героев.

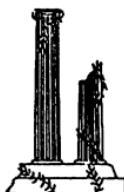
Дочь известного генеалога и нумизматка А.А. Сиверса — Татьяна Александровна Аксакова (1892-1982) по кругу родственных и дружеских связей принадлежала к русской аристократической элите и прошла путь, в большей или меньшей степени общий для той ее части, что осталась на родине после революции 1917 года и должна была приспособиться к новым социальным условиям. Детство в Петербурге в доме отца, юность в семье отчима — графа Шереметева, занятия в Строгановском училище, брак с соседом по имени Б.С. Аксаковым, затем — мировая и гражданская войны, годы скитаний по провинциальным городам, переезд в Ленинград, первый арест, высылка в Саратов, новый арест в 1937 году, лагерь, активирование по болезни, поселение в Кировской области, реабилитация — «за отсутствием состава преступления»... Татьяне Александровне повезло: до последнего этапа добрались не многие из ее сверстников. Все они проходят на страницах воспоминаний: Сиверсы, Вяземские, Аксаковы, Шереметевы, Толстые, Львовы, Шиповы, Юматовы, Чебышевы и др. Повествование охватывает период с конца прошлого века до 60-х гг. нынешнего, развертываясь в Петербурге и Москве, в дворянских усадьбах провинциальной России, в Козельске и Калуге, в долинах послевоенной Европе, на берегах Волги и Вятки. Многочисленные исторические экскурсы, особое внимание автора к генеалогии — связывают настоящее с прошлым, чрезвычайно расширяя историческое пространство мемуаров. И сквозь судьбы отдельных людей, сквозь рамки семейной хроники — пропускает судьба целого российского сословия, история которого еще не написана.

Цена двух томов:

В мягкой обложке — 260 фр.фр.

В твердом переплете — 330 фр.фр.

**Книга продается в издательстве Atheneum
и во всех русских книжных магазинах.**



Éditions

ATHENEUM

10 bis, rue Duhesme 75018 Paris
Tél. : 42.62.14.21

предлагает новую книгу:

МИНУВШЕЕ. Исторический альманах. Вып. 5. 420 с.

В мягкой обложке — 150 фр. фр.

В твердом переплете — 195 фр. фр.

Публикации неизвестных материалов по русской истории XIX-XX вв.:

Воспоминания отца русского футуризма — наиболее полная личная и творческая автобиография Давида Бурлюка, составленная в 30-м году и никогда не публиковавшаяся. Мемуары Корнелия Зелинского о последних годах жизни А.А. Фадеева и той обстановке, что возникла в литературной среде после смерти Сталина. Воспоминания Сильвы Гитович о жизни ленинградской писательской организации. *Из истории искусства*: переписка Ильи и Кирилла Зданевичей, воспоминания Ильязда о встречах с Нико Пироманишвили, В.Бартом, М.Леданто; письма М.Ларионова и Н.Гончаровой; манифест всеков. *Из истории литературной жизни*: неизвестное письмо А.Белого; новые документы О.Э. Мандельштама из архивов Гейдельбергского ун-та; письма В.Ходасевича и Н.Берберовой; исследование М.Никё о последних месяцах жизни М.Горького. *Сообщения*: А.Храбровицкого о возвращении А.И. Куприна в Россию в 1937; М.Агурского о взаимоотношениях М.Горького и Ю.Н. Данзас; Б.Закса — об отношениях В.Гроссмана и А.Твардовского и об Аркадии Гайдаре. Все публикации подробно откомментированы и снабжены научным аппаратом. Много впервые публикующихся фотографий и документов.

Вниманию заказчиков:

На складе издательства имеются 1, 2, 3 и 4-й выпуски альманаха.

Цена каждого выпуска: в мягкой обложке — 150 фр. фр.

в твердом переплете — 195 фр. фр.

Книги продаются в издательстве Atheneum
и во всех русских книжных магазинах.
Требуйте наши каталоги.

СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

М. Розанова. Перестройка и перестрелка 3

ПРИЛОЖЕНИЕ-І

Ю. Афанасьев. Возможности и основы единства 19

А. Синявский. Пространство прозы 25

Ф. Искандер. Рукой дурака ловят змею 32

А. Герман. "Я не вру..." 35

О. Попцов. "Отстоять независимость культуры..." 42

Н. Иванова. Литература и история 46

Из выступлений на заключительной дискуссии:

Г. Бакланов, О. Попцов, А. Гладилин 53

ПРИЛОЖЕНИЕ-ІІ

Андрей Битов (?) Некролог 60

А. Кушнер. Послесловие 63

С кем нам надо совпадать во взглядах?

Самиздатская полемика 67

Ю. Вишневская. Православные, гевалт! 82

ПРОЗА

И. Шапиро. Тодор Ткачук. Повесть в рассказах 102

З. Зиник. Mea culpa 149

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

И. Померанцев. Фантастическое в ранней прозе
Н. В. Гоголя 164

Д. Рейфилд. Байрон сегодня 181

А. Волохонский. Из Декамерона 184

В. Иоффе. Благая весть лесов 191

НАША ПОЧТА 204



Цена номера 65 фр.фр.

Подписка в редакции на 4 номера – 240 фр.фр.

Пересылка за счет подписчика.

